

## ОТЕЦ ИОСИФ ФУДЕЛЬ

(Мои памятки и думы о нем и о том, что было ему близко)

*Сергей Дурьлин*

Братски любимому Сереже  
Фуделю на память об его отце.

Первое и последнее слово, услышанное мною от отца Иосифа, было о Константине Леонтьеве: я увидел и услышал отца Иосифа впервые осенью 1912 года, когда он горячо и глубокомысленно возражал Грифцову на его докладе «Судьба Леонтьева» в публичном заседании Московского Религиозно-Философского Общества памяти Вл. Соловьева<sup>i</sup> – а через шесть лет, осенью 1918 года, я с внутренне-преодолеваемыми слезами читал обращенные ко мне строки воспоминаний отца Иосифа о Леонтьеве и postscriptum его завещания, в котором он, передавая мне собранные им материалы, просит меня продолжить недовершенное им дело: написать биографию Леонтьева. Мне кажется, меня свел и сблизил с покойным отцом Иосифом К.Н. Леонтьев, который оказал мне и другое – по истине величайшее благодеяние: своей книгой «Отец Климент Зедергольм»<sup>ii</sup> он привел меня в Оптиную пустынь к могиле своего старца, приснопамятного иеросхимонаха Амвросия, к келье моего старца, его ученика и духовного наследника<sup>iii</sup>.

Для меня воспоминанием об отце Иосифе должно бы быть и воспоминание об Оптиной пустыни, и об ее старцах, и об ее послушнике, и постриженнике – монахе Клименте, в миру Константине Леонтьеве, но все это для меня не воспоминание, а жизнь, – та, которой я живу. Поэтому у меня нет воспоминаний об отце Иосифе и я хотел бы верить, что и не будет: он для меня – один из дорогих участников той живой действительности, православной, церковной, русской, – которой имя – Оптина пустынь и все, что в ее приходе, устройении и духовном водительстве. Строй мыслей отца Иосифа, – для меня продолжение и живое преемство мыслительного строя его учителя, Константина Леонтьева, который в о. Иосифе видел лучшего, единственного, полноправного наследника своей многосложной и многострадальной мысли, своих великих и пророчески-правдивых всемирно-исторических чаяний. Духовный уклад, строго и светлое устройство личности покойного, его тихое и мудрое пастырство, его благоговейное и прекрасное в своей строгости и благодати иерейство – для меня всегда было и есть продолжение душеустройства, пастырства, иерейства Оптинского, великого в своей благодати, мудрости и смирении. Наконец, личное расположение ко мне покойного отца Иосифа я воспринимал всегда как московское продолжение чего-то оптинского: строгое и благое, любвиобильное и учительно-требовательное. Около отца Иосифа я чувствовал себя всегда как бы в Оптинской келье, перенесенной в Москву, где помнят всех, кого помнят там, где чтут все, что чтимо там, – где учат тому же

строю мыслей, чувств, влечений, где тем же путем приводят ко Христу... Как я могу вспоминать об этом? Я не помню только это; по милости Божией и по молитвам молитвою щедрых я этим живу. Не вспоминать об отце Иосифе могу я, а лишь, слабо и отрывочно, попытаться сказать о тех воздействиях духовных на мой ум, чувство, волю, – которые имел я от него. Говорить об этом трудно, едва возможно: говорить об этом вполне, искать совершенной полноты и точности – мне непосильно. Все дальнейшее простая попытка простой записи пережитого и переживаемого ныне, – попытка обозначить лишь некоторые – далеко, далеко не все – вехи, лишь некие грубые отметы пути, а не самый путь, который ими намечается...

\*\*\*

## I.

Кончился доклад Грифцова. Он был первый публичный доклад о Леонтьеве, первое слово, вслух сказанное, после многих десятилетий полного молчания, о замечательнейшем из русских мыслителей последних десятилетий. Он напечатан в «Русской мысли», и его достоинства и недостатки каждый может разценить по своему. Несомненно одно: подход Грифцова к Леонтьеву не изнутри, а извне. То, что для Леонтьева, путь трудный, мучительный – и однако неминуемый, – для Грифцова представлялось досадным отклонением от пути. Почему Леонтьев писал о каких-то греко-болгарских делах? Для Грифцова они только какие-то, для Леонтьева они были ключ к уразумению загадок славянства и великих судеб православия. Почему Леонтьев слушает какого-то скучного и пресного, вдобавок упрямого и сухого немца, Климента Зедегерольма? Для Грифцова – это какая-то ошибка, слабость Леонтьева, недостаток, обмолвка, почти досадное недоразумение: Леонтьев – великий эстетик, русский Ничше<sup>iv</sup>, тайновидец потаеннейших бездн человеческого духа, отважный взрыватель общепризнанных ценностей, прогресса, общественности, культуры века, тайный антихристианин с явно носимым крестом на шее, принесший с дряхлого, но многокрасочного, но многошумного, Востока какую-то жадно ловимую нашим веком весть о последней свободе человеческого духа и плоти, – и вдруг рядом с ним этот монах с прописными истинами умственной покорности, мыслительного и всяческого послушания, терпения, смирения! Зачем, зачем ты, прекрасный и мудрый, русский Алкивиад<sup>v</sup>, русский Ничше, зачем ты пошел в монастырь, в келью скучного добродетельного немца, как новоначальный послушник, и слушал его, сам подслушавший великие и прекрасные вести последней свободы! Ведь нам, живущим в XX веке, учившимся у Ничше, истончившим свой мозг на оселке Кантовых критик, прошедшим чрез эстетический искус декадентства, нам, для кого пишет Розанов, для кого создавали «Демона» Врубель и «Поэму экстаза» Скрябин, нам, чьи сверстники Андрей Белый и Блок, – нам нужен не второй инок Климент, не тайный постриженник Предтечева скита, горькими слезами оплакивавший раннюю могилу строгого и мыслительно-неумолимого иеромонаха Климента, под вековыми оптинскими соснами, – а тот блестящий красавец, смелый умом, бестрепетный волей,

дерзостный в мысли, которого мы узнали в его гениальных афоризмах, в его странных вселенских предчувствиях, в его ослепительных – жизнью, как сказкой, напоенных – картинах Востока! Это слышалось в докладе Грифцова, и это было в нем – лучшее, наиболее светлое и искреннее – этот крик тоски по Леонтьеву-Алкивиаду, по Леонтьеву-жизнелюбцу.

Я слушал доклад, записывал его мысли, – это было первое заседание, где я секретарствовал, – и внутренне противился ему, – противился, может быть, больше всего потому, что в самом себе ощущал такой же, не совсем заглушенный, крик Леонтьеву-Алкивиаду: «Ave! Ave! Будь силен, будь дерзок, будь прекрасен и тем открой и усвой нас силу, дерзновение, красоту. Зачем, зачем – черная ряса, черный иеромонах, черный монастырь!» Это было в глубине, но не в последней глубине себя: там уже было зерно совсем других всходов, совсем иных надежд, совсем иных заветных: «Буди, Буди!» И я, слушая чтение, противился его мысли, его крику, глушил свое глохнущее «Ave», и все порывался внутри и вне себя показать, утвердить, сделать окончательно непоколебимым: «Алкивиад умер. Алкивиад истлел. Праведник – тот пребывает во веки. Монастырь – не черное, а белое, единственно белое, и солнечно-светлое, что есть на земле».

Чтение кончилось. Прошел перерыв. Рачинский с особой, какой-то твердой, убежденной почтительностью произнес: «Слово принадлежит отцу протоиерею Иосифу Ивановичу Фуделю». В публичных, многочисленных, светских собраниях священник, берущий слово первым, по общему, философскому вопросу, – есть величайшая редкость. Мне кажется, отца Иосифа и встретили, и выслушали поэтому с каким-то особым, испытующим вниманием. «Что может сказать священник и что тут сказать священнику?» – чуялось за этим вниманием. Я, вынужденный записывать речи ораторов, не мог следить за лицом о. Иосифа. Я только взглянул на него, когда он всходил на кафедру, и раза два-три взглядывал на него во время его речи.

По фигуре, по внешнему облику, возражать Грифцову, вышел именно иеромонах. Навсегда, с первого взгляду, воспринял я во внешнем облике отца Иосифа что-то неразложимо, явно аскетическое, монашеское. Его худоба, сухощавость лица, шеи, рук, – воспринималось сразу как что-то не мирское, где это может означать болезнь, физический недостаток, – а как нечто иноческое, монашеское, нечто должное, естественное, как плод аскетической жизни, и потому, как всякое завершение, как всякая полнота, воспринималось, как прекрасное. То же и в лице: в миру бывают лица с большим внешним выражением доброты, ума, воли, но в них нет той ясности, определенности, силы и прочности, какую изобретают природные свойства человека – доброта, ум, воля – пройдя через тяжкий искус подвига и подвижнического, монашеского душеустройства: лицо о. Иосифа было именно такое монашеское лицо. Большой, строгий, ясный, многогранный ум, – светился в нем, отражалась на нем твердая воля, и была отпечатлена доброта силы, а не слабости, – но все это – не наше: не первоначальное, так сказать, душевно-сырое, к чему не было еще приложено духовного христианского труда, – это

был свет и отражение уже приобретенных духовных достижений, света внутреннего. Но лицо о. Иосифа было лицо подвижника в миру, праведника среди воюющей и успевающей неправды, – и оттого оно было всегда, даже в своей улыбке, грустно. Только в храме, во время богослужения, оно было иным...

Отец Иосиф говорил тихо. У него был тихий, слабый голос – и тем страннее, что иногда он не представлялся, а действительно бывал властным и сильным. Но тут говорил он с явным волнением, с какой-то глубокой затронутостью, а когда так говорят – не бывает не слышно.

Он – в собственном смысле – не возражал Грифцову. Он только приоткрыл ту тайну леонтьевской жизни, которую вполне знал он один из всех, живущих в миру. Он сделал это тихо, просто, незаметно, но была в этом великая любовь и великая строгость. Вот Грифцов назвал – отдание себя под власть старца, старческое окормление, подклоненье себя под волю старца – «трансцендентною случайностью»: искать воли старца, вверяться ей послушнически, беспрекословно, как вверялся Леонтьев отцу Амвросию<sup>vi</sup>, – это значит вверяться слепой «трансцендентной случайности». Бедный Алкивиад! Он вверил себя худшему и худороднейшему из властителей – Случаю – хотя бы и трансцендентному.

Отец Иосиф незаметно, кротко, несколькими чертами из жизни Леонтьева, несколькими, помнится, напоминаниями из великой области святоотеческого ведения, – безукорно, но строго и твердо указал: какая ложь так думать – и какая великая и недоступно глубокая правда была в том, чтобы – чрез послушание воле старца – войти в волю Царя Небесного, чрез – отсечение самосильнейшей части своей найти себя, нового, восполненного небесным, преображенного в своем земном. Не богословствуя, не вступая в область отвлеченных мистических построений, он дал своим ответом Грифцову почувствовать: как пуст наш обычный расхоже-философский, привычно-интеллигентский подход к подвижничеству, аскетизму, мистике и метафизике св. отцов! как безграмотны мы пред грамотою монастыря, монашеского подвига, аскетического ведения, аскетической радости! И вдруг – опять незаметно, тихо, просто, безукорно – отец Климент Зедергольм из ограниченного немца, досадного научителя прописным истинам, превратился в – в тихой речи о. Иосифа – в бережного и мудрого вратаря, введившего измученного Леонтьева в белые врата православного монастыря, в верного послушника благодатного старца Амвросия, в истолкователя его великих велений, в соучастника его благих и мудрых трудов над возвращением пшеницы Господней на русских полях. И бесконечно вырос, осложнился, возвеличился сам Леонтьев: пусть он перестал быть русским Ничше, почувствовалось зато, что о. Иосиф подвел нас к самой грани, на которой билась мысль Леонтьева, трагически томилась его жизнь – к рождению в нем христианина... Труд этого рождения он нес с такой великой силой, с такой волей ко второму своему рождению, что ясно стало: не умалил себя, а неизмеримо возвысил Алкивиад, перестав быть Алкивиадом. Я не так тогда определил для себя результат речи

о. Иосифа, но значение ее для меня было именно в этом. Он сошел с кафедры. Его сменили другие ораторы, более блестящие, вернее, более привычные к речи: Булгаков, Струве, Степун. Но только он – один он – вдруг ввел с собою в залу Леонтьева, – и, точно в личном присутствии его, столь томившегося своим алкивиадством, столь пламенно стремившегося «к сионским высотам»<sup>vii</sup>, столь твердо воспринявшего призыв к Никодиму: «вторично родиться»<sup>viii</sup>, – стало уже невозможно говорить, и нестерпимо слушать – о «трансцендентной случайности», об ограниченном иеромонахе из крещенных немцев, обо всем том, о чем говорят люди не проходящие с непокрытой головой чрез ворота монастыря... Заседание продолжалось. Возражали докладчику, докладчик возражал. Но запомнил я только то, что говорил о. Иосиф, – и было как-то свежо на душе, что запомнились не слова его, а то, что было глубже их: его истина, его высокая правда и любовь.

## II.

Я не помню, как и где я познакомился с о. Иосифом. (Кажется, это было чрез его духовную дочь, Н. В. У.<sup>ix</sup>), но в первый месяц нашего знакомства, помню, о. Иосиф повел меня, вместе с нею, показывать свою приходскую церковь, св. Николы в Плотниках<sup>x</sup>.

– Вот видите, у нас и под Васнецова, и под кого угодно, и старое кое-что есть, – говорил о. Иосиф, показывая мне иконы, утварь и стенопись своего храма. Особенно же он остановил мое внимание на чудотворной Балакинской иконе Божьей Матери. Это и было причиной, почему он позвал меня в церковь: он думал получить от меня кое-какие иконографические сведения – о типе и переводе Богоматери, чудотворно прославленной в его храме.

Мы стояли у главного иконостаса. И вдруг как-то разговор с иконографических тем перекинулся на личные. Должно быть, о. Иосиф упомянул о своем прежнем долге священнослужения при тюремной церкви<sup>xi</sup>. И я задал ему вопрос:

– Какое же общее впечатление вынесли вы от долгого пребывания среди каторжан, от тысяч и десятков тысяч осужденных и преступников, прошедших перед вами?

Я думал, но не сказал вслух: «Ведь он знал их души больше, чем кто-либо, ему открывались их тайные дела, намерения и мысли, ему, как священнику, можно было читать все, что ото всех скрыто, их добро и зло... И так в течение не месяцев, а годов. Что же он узнал от них?»

О. Иосиф обернулся ко мне – он стоял на солее, около иконы Спасителя, – и ответил:

– Я удивлялся иногда и удивляюсь, почему они – в тюрьме, а я – на свободе.

И ушел в алтарь.

Разговор не возобновился на эту тему, – и не мог возобновиться. Смирением и грустью повеяло на меня тогда от его слов – веет и теперь. Так мог сказать только высокий пастырь, благой и верный, во смирении мнящий

себя худшим и грешнейшим из овец своих – а эти овцы были преступники, убийцы, каторжане.

Но сказать так мог только тот, кто покаянно видел в себе семя греха, в других умел благодатно видеть среди пышных всходов зла – ростки подлинного, божественного добра...

Летом 14-го года отец Иосиф посетил меня. Его приезду особенно радовалась моя покойная мать, и угощала его своими чудесными вареньями из маленьких вазочек. Мы говорили много о Леонтьеве, и через немного времени я получил от него открытку: он звал меня к себе на дачу. Я почему-то не мог поехать к нему.

Осенью 14-го внезапно заболела моя мать. С нею сделался удар. Я был в полном отчаянии, и делал все, как машина. Кто-то сказал мне: хорошо бы ее причастить. Она лежала, утратив способность речи, но с бесконечной любовью смотрела на меня и, с закрытыми глазами, ощупью, руками, искала мою голову и, прижав к себе, целовала. Она почти не видела. Я наклонился над ней и спросил, хочет ли она причаститься. Она точно ждала этого вопроса, и дала понять тотчас, что хочет. Я не знал, где достать священника, приходского почему-то не пришлось в голову позвать. Хотелось кого-нибудь близкого. Я вспомнил об о. Иосифе, и позвонил ему, прося приехать не медля ни минуты. Он и не замедлил ни минуты приехать на другой конец Москвы. Он благословил меня и сразу как-то успокоил. Он подошел к маме, наклонился над ней и сказал необыкновенно-приветливо, с глубокой лаской в голосе:

– Я – отец Иосиф, который был у вас летом... Узнаете ли меня, Настасья Васильевна?

А я как раз боялся, что мама не узнает его и удивится незнакомому священнику. Но она – не помню, как – дала ему понять, что знает его и рада ему, а он радостно продолжал:

– Ну, конечно, узнали... Я приехал причастить вас.

Опять как-то он – не я – понял, что она хочет этого, – и попросил принести столик для Св. Даров. Торжественно, строго, с какой-то светлой, но глубоко смиренной надеждой читал он молитвы. Потом он ненадолго выслал меня, приступив к исповеди, – и опять позвал, когда пришло время причастить маму. Он был светел и спокоен. А мамино лицо было счастливое и такое обрадованное в страдании своем, что во мне всколыхнулась до дна души надежда: она будет жить. Я заплакал и целовал, в слезах, его благословляющую руку. Он уехал. Маме весь вечер было лучше; она была в сознании. На другой день вечером она скончалась – тихо, мирно, как во сне<sup>xii</sup>.

В последний день перед похоронами отец Иосиф приехал служить панихиду, один с причетником. И нас было только брат, я, тетка, близкий друг. Я особенно был рад, что он отслужит по маме панихиду. Я сказал ему, как ей стало лучше после причастия. С твердой верой и твердым спокойствием любви ответил он:

– Как же может быть иначе? Так и должно было быть. Так всегда и бывает.

Служил он панихиду как-то так просто, успокоено, молитвенно, такая глубокая надежда на милость Божию, такая явная вера в неизмеримую правоту и благодать Божиих решений в делах земных светила в каждом слове, им возглашаемом, в каждом его возгласе, что и не плакалось за его панихидой. Молиться, а не плакать, хотелось. Не умиляли внешние слова зауспокойные, даже не трогали своей неизреченной словесной красотой – за нее влеклась душа дальше, в покой и твердыню упования на Бога и на правоту путей Его.

Отец Иосиф поклонился покойнице, благословил ее, благословил нас с братом, пожалел, что из-за урока не может быть завтра на отпевании<sup>xiii</sup>, и уехал.

Я теперь знаю, что тогда дал он мне: он не словом, хотя бы и молитвенным утешил, – он дал церковное, незыблемое, благое разрешение невыносимым скорбям земным, – он явился и тогда, – причащать больную, – и теперь – молитвенно благоговейным, мудрым иереем Господним, призывавшим братья на плечи свои все ноши печалей земных...

### III.

Таким я помню, таким я больше всего люблю его.

Вот Рождественская всенощная. Церковь переполнена. Милый, рождественский жар от свечей. В руках у меня сухари. От всенощной я иду к о. Иосифу на именины матушки. Он – в серебряной ризе – читает евангелие. «Иисус Христово Рождество сице бе...»<sup>xiv</sup>. Сколько раз читанное евангелие! Но я его впервые услышал в этот сочельник от о. Иосифа.

Его чтение было особое: дана ему была особая простота чтения слова Божия. Как просто Рождественское краткое евангелие от Матфея – и как не просто его прочесть!

Наше чтение всегда психологично, читаемое всегда окрашено в краски нашей душевной пестроты: мы оттеняем голосом оттенки мысли, выделяем особенно почему-то нам дорогие или для нас важные образы, подчеркиваем слова, иные двумя чертами, другие – одной, некоторые слова как бы перечеркиваем или вовсе зачеркиваем голосом, делаем их почти ненужными, неважными, случайными в тексте; наше чтение – есть рисуемый нами – голосом нашим – новый, иногда очень тонкий, иногда до ужаса грубый – рисунок на словесном изображении, данном нам в тексте; рисунок этот может быть бездарен, он может быть гениален, – но в обоих случаях он наш, только наш, ни для кого необязательный, и по существу ложен, если задача наша была – не рисовать голосом новое, а только передать то, что мы должны были передать, не нами созданный текст... Но если всякое так называемое выразительное чтение грешит психологизмом, внутренней неубедительностью, необязательностью для слушателя, – и нельзя потому, боясь ложного запечатления, довериться тексту, хотя бы, Шекспира, выслушанному от декламатора, а лично не прочитанному, – то тем нестерпимее и дживей наш психологизм при чтении Слова Божия. Евангелие, прочитанное «с так называемым» выражением», есть кощунство. Слово Божие Само все

выражает: и не требует никаких пособий от человека, никаких усилий и потуг выразителей. Нельзя выразительно прочесть евангелие – ибо нельзя Слово Божие облекать в худые – неизбежно худые – каковы бы они ни были – одежды нашего голосового творчества. Нужно быть и тут, как и везде в христианстве, смиренным: нужно быть при чтении слова Божия – со своим голосом, его тембром, выразительностью, декламационными достоинствами – столь же незаметным, как воздух незаметен в сиянии солнца.

Но многие ли читают так евангелие? Монахи в строгих монастырях да старые сельские батюшки Филаретовского закала. Обычно читающие стремятся расцветить свое чтение или декламационными украшениями, или – еще хуже – чуть-ли не вокальными ухищрениями.

Отец Иосиф читал именно так, как должно, как Церковь требует читать. Древний монах, благоговейно переписывавший евангелие, писал уставом: прием письма, исполненный великой ясности, простоты, строгости, не допускающей привнесения в начертываемые буквы ничего личного, вычурного, усложняющего, ничего запутывающего текста, мешающего его верному пониманию, – оттого так легко читать книги, писанные уставом: между читателем и читаемым не стоит переписчик, как стоит он непременно при скорописи – стоит со своим почерком, беглым, вычурным, произвольным, путанным, в котором запечатлен весь душевный сплав личности переписчика. Чтение о. Иосифа – было голосовой устав, а не скоропись, – оттого оно так прямо и строго подводило слушателя к читаемому. Читаемое же было Слово Божие – и потому близость эта заставляла быть благоговейным и внимательным к себе. Но и у устава есть своя красота, может быть, свои особенности различным приемом начертания букв и слов. Чтение и возгласы отца Иосифа в служении были тихие, – но в этом тихом чтении мне всегда чудилась особая, прочная, постоянная радость благовествования, в этих негромких и немзыкальных возгласах была особая молитвенная сила, возвещающая о «Победе, победившей мир». И мне кажется, будь у о. Иосифа голос звучнее и крепче легкие, его возгласы и чтение не перестали бы быть тихими, и сила и красота их были бы по-прежнему – в глубокой их и вместе смиренной сосредоточенности, в строгой простоте, в мудрой боязни душевым – затемнить духовное, человеческим отемнить Божье.

Радостно шла Рождественская служба, начался молебен после нее. Раздавались тихие возгласы отца Иосифа. Отвечал им хор. А у меня в душе все звучало – тихо, просто и благостно: «Иисус Христово рождество сице бе...» Это – о. Иосиф вновь и вновь благовествовал мне рождественскую радость, повествуя просто и прочно о родившемся в Вифлееме.

Помню и другую такую же по действию на меня службу отца Иосифа. Это было в страстной четверг 1917 года. Выдалось так, что на этой Страстной неделе шли заседание за заседанием по важнейшим церковно-общественным делам. Нам приходилось на них неизбежно быть, а вместе с тем – неужели пропускать службы Страстной седмицы. М.А. Новоселов роптал: «Скоро из-за обилия дел церковных мы перестанем в церковь ходить». Вышло так, что в Великий



четверг нужно было назначить совещание по вопросу об организации союза христианских женщин и первого его собрания, но назначить так, чтобы не пропустить чтения 12 Евангелий. О. Иосиф предложил назначить заседание у него на квартире, после всенощной. Все собрались к нему в храм – к слушанию 12 Евангелий.

Горели страстные свечечки. За окнами была спорая и дружная весна с легким вечерним холодком. Я стоял почти рядом с о. Иосифом. Он читал Евангелия посредине церкви. Его лицо было глубоко сосредоточено. Очевидно, ничего не существовало для него, кроме того, о чем он читал. Оно было очень скорбно, но совершенно спокойно. Я не видел больше ни у кого такого сочетания скорби и спокойствия, ясной покорности и тихой печали, какое было у о. Иосифа, и лицо его было торжественно; писатель, общественный деятель, мыслитель были где-то далеко, – тут был один иерей Божий, благовествующий о Сыне Божиим с «силою многою». Первое Евангелие из числа двенадцати продолжительно. Было заметно, что о. Иосиф устал, но и устал это дорогой нам и слабый здоровьем отец Иосиф, а не тот иерей, строгий и тихий, который благовествовал нам Евангелие от Иоанна. Для того, очевидно, не могло быть усталости.

После всенощной все пошли к о. Иосифу, и за чаем, долго обсуждали план деятельности новой православной организации. Усталый о. Иосиф волновался, горячо обменивался мыслями и соображениями с Булгаковым, – пока Новоселов не объявил решительно, что надо всем идти домой, что все устали и больше всех сам отец Иосиф. И опять я уходил с тихим повторением слов евангельских в душе – на этот раз скорбных и торжественных – «Ныне прославился Сын человеческий». Это был опять – след мудрого и тихого благовествования о. Иосифа.

#### IV.

В пятницу 27-го октября 1917 года в храм отца Иосифа принесли новоявленную икону Божьей Матери «Державной»<sup>xv</sup>. Тогда еще у нее не было этого названия, но уже всюду в Москве ее знали и ждали – каждый приход старался пригласить икону в свой храм. И о. Иосифу принесли икону к вечеру. Жуткая тревога была кругом. Было ясно: что-то должно случиться. Ходили самые противоречивые и бесконечно томительные слухи. Ждали, что прольется кровь, и кровь эта казалась неотвратимой, неизбежной; было страшно ее ждать, а разум подсказывал, что ее придется видеть, может быть, лить. Принесшие икону – она была где-то в Замоскворечьи – на мосту попали под выстрелы, но все обошлось благополучно. В центральных районах уже старались не выходить на улицу; улицы жутко пустели; подъезды были заперты, но трамвай еще ходил. Свечерело. Было сыро и холодно. У Николы в Плотниках зазвонили ко всенощной. Звон был одинокий, но особенно поэтому желанный. Когда я вошел в храм, на паперть, задолго до начала службы, я увидел, что церковь переполнена до последней возможности. Влево высоко над толпой высилась икона Богородицы, озаренная светом множества свечей. В

церкви было душно. Молящиеся двигались сплошной массой прикладываясь к иконе. Все время было движение в церкви. Беспреданно зажигались новые и новые свечи. Началась всенощная. Ее служил благочинный; о. Иосиф сослужил ему. Никогда я не видал, чтобы так молились, как за этой всенощной и за следовавшим за ней молебном, который служил о. Иосиф. «Отврати, – отведи от нас беду», – слышалось, виделось, ощущалось в этой молитве. А беда была тут же, рядом, за стенами. Это все знали, – и то, что это – лишь начало бед, – не было в этом сомнений. Плакали, не стараясь скрыть слез, – и не одне женщины, и было непривычно-жутко слышать, как плачут в церкви, взрослые, старые, особенно мужчины. Но еще сдерживались за всенощной, – за молебном же – оттого, должно быть, что это именно – молебен, служба-моление, прямая просьба: помоги! отврати! заступи! – плакали почти все... Когда вышли из церкви, где-то – помнится – донесся далекий выстрел. «Стреляют?» – Но не хотелось, чтоб это было так – и отвечали: «Нет, это с трамваем что-то случилось или с автомобилем»... Наступила ночь на субботу. Уже ночь определила, что ожидаемое пришло, вполне и неотменимо. Трамвай стал. Уже нельзя было говорить про автомобили и лопающиеся шины: стреляли там и тут, и нельзя было понять: где? откуда? С крыш домов? или из окна? или вдоль улицы?

Я пошел к обедне к о. Иосифу. На домах были расклеены объявления от Военно-Революционного комитета. «Не ходите таким-то переулком: там стреляют» – предупреждали встречные. Церковь была переполнена. Тихое, сосредоточенное служение о. Иосифа поражало среди всеобщей молитвы в слезах, приглушенного или явного плача. Я после всенощной был у него, я знал, как потрясен он происходящим, с каким волнением говорил он обо всем, что совершается, но – тут, в храме, ничего этого не было. Чинно, строго, просто и молитвенно совершал он служение, и было ясно: что ни случись сейчас: попади церковь под обстрел, разорвись снаряд в самом храме, подвергнись она нападению, – о. Иосиф так же спокойно – с каким-то от алтаря и сана его даруемым спокойствием и невозмутимым миром – будет совершать свое служение. И я верю: он своей тишиной и властной необоримостью служителя Божия – разрешал эти слезы и плач в молитву, и судорожно хватавшаяся за сердце рука – складывала пальцы для крестного знамения.

После обедни о. Иосиф не возвратился домой. Он служил молебен за молебном. Кого-кого не перебивало в этот день в церкви! Вот – лица прислуг, вырвавшихся на минуту, вот учащаяся молодежь, вот лицо знакомого мне приват-доцента естественника. Я не поверил глазам: он прежде не ходил в церковь.

Мы сидели в квартире о. Иосифа за чаем. Его все не было. Нина Иосифовна<sup>xvi</sup>, подойдя к окну, закричала:

– Папа ходит с иконой по приходу, а от домов стреляют.

И она бросилась на улицу. Я побежал за нею. Действительно, слышались выстрелы, где-то очень близко, и как-то становилось тревожно от того, что нельзя было понять, где, откуда они. Плохо, если с крыш, из-за труб. Тогда все

мы под обстрелом. Не лучше, если и вдоль по переулку стреляют. О. Иосифа не было на улице. Он служил молебен перед иконой в чьем-то доме, довольно далеко от церкви. Около подъезда – кучка народу. Из подъезда вышли женщины в платочках. Понесли икону. За нею шел о. Иосиф в облачении, с диаконом. Я спросил его – внутренне желая, чтобы это так было:

– Вы, о. Иосиф, домой?

– Нет, тут еще в несколько мест.

Икону понесли по середине переулка. О. Иосиф шел как в обычном крестном ходу, в обычное время. Вдруг с тротуара к нему ринулся какой-то господин и что-то горячо заговорил, тревожно жестикулируя. О. Иосиф кратко ответил ему что-то, – и тот, пожав плечами с досадой, вернулся на тротуар и быстро пошел прочь. Это был помощник участкового комиссара. Он предупреждал о. Иосифа, что беспрестанно стреляют с крыш, что только что в переулке ранило нескольких, что в высшей степени опасно ходить посреди улицы, по мостовой, да еще толпою, в общей куче, подпадая под прицел со всех сторон, он просил всех отойти на тротуары и немедленно разойтись. О. Иосиф отказался. Крестный ход шел, как крестный ход. Он не ускорил шага, не перешел ближе к тротуару, где было идти безопаснее. Он спокойно шел за иконой и пел кондак: «Не имамы иныя помощи». Стрельба не прекращалась. О. Иосиф ходил с иконой из дома в дом, усталый, еще ничего с вечера не евший и не пивший. На серой октябрьской улице, на которой только что пролилась кровь, в серебряном облачении, с крестом, спокойный и строгий, неборимо идущий за иконой Богоматери, он был прекрасен; это был – воистину иерей Божий, служитель Царя Небесного, сопровождающий шествие Царицы Небесной. Это был истинный воин Небесного Царя – и смелый, и бестрепетный, и в брани земной.

Мне не пришлось быть за пасхальным служением о. Иосифа, но я знаю одно впечатление от этого служения.

– Он был весь светлый, когда ходил по церкви со свещником и возглашал: «Христос Воскресе!»

Это говорил человек, больше всего боявшийся в религии сантиментальности, восторженности, чувствительности. Он понял, однако, что пасхальный «свет» отца Иосифа был – не восторженность, не чувствительность, не сантиментальность...

## V.

У меня была одна особая и глубокая связь с о. Иосифом – это то, что он был – единственный хранитель тайны жизни, личности, творчества и веры Кон<стантина> Н<иколаевича> Леонтьева. А для меня знакомство с первыми же страницами Леонтьева – это были страницы его книги «О. Климент Зедергольм» – было величайшим духовным счастьем: оно привело меня в Оптиную пустынь. Как мыслитель, Леонтьев обезценил для меня многое, почти все, чему я отдал свою юность и первую зрелость, обезценил навсегда, научив искать и хранить иные ценности; как человек, как путник своего жизненного пути, приведшего его к монастырю, к Афону, к Оптиной пустыни, Леонтьев

был и остается для меня столь необычайно значителен, учителен, близок и нужен, что я не могу об этом писать. Я чувствовал себя как бы его внуком – через сына – через о. Иосифа. Я не зная о Леонтьеве искал у о. Иосифа, я не сведений просил биографических, – я чувствовал, что Леонтьев – живой, страдающий, в своем язычестве «пойманный Богом», труждающийся, мучающийся своим христианским, вторым, рождением, и благодатно родившийся при восприимчивости афонских старцев и о. Амвросия Оптинского, – что этот Леонтьев, умирая, мог бы сказать про себя:

– Часть моя больш́ая,  
От тленья убежав,  
По смерти станет жить<sup>xvii</sup>.

Жить – в отце Иосифе Фуделе.

Я знаю, как ответственно это утверждать. Константин Леонтьев – безместный писатель русской литературы, второй Ницше, по определению многих (какой-то «турецкий игумен»<sup>xviii</sup>, по определению друзей) – суровый византиец, дерзостный восхвалитель насилия, железной государственности, дипломат, эстет, тайный монах, – и строгий, чистый, ясный, весь цельный, весь облагодатствованный пастырь, служитель алтаря Божия отец Иосиф – что общего, повидимому, меж ними? Что общего, кроме привязанности давних лет, кроме немногочетней встречи в прошлом, кроме благородной ревности о. Иосифа к посмертным судьбам Леонтьева-писателя?

И тем не менее, я всегда знал внутренне, что о. Иосиф есть единственный мне известный человек Леонтьевской культуры, что он принял на себя всю печаль, всю неизбежную скорбь основначал Леонтьевского мировоззрения, что мышление его, самое жизнесприятие, что основная его дума о судьбах Церкви, России, Христианства исполнена тех, почти неопределимых утверждений, оттенков всечувствий и противочувствий, которым Леонтьев давал имя «христианского пессимизма».

О, конечно, о. Иосиф не был К. Леонтьевым!<sup>xix</sup> Он был – служитель Божий, лучшие дни и часы своей жизни проводящий в алтаре храма, а не в притворе, как провел их К. Леонтьев. Строгая ясность и прямая твердость о. Иосифа была ясностью и прямоотой, твердостью того, кто вéдомо, благоговейно, непреложно служит «ведомому Богу». Он – и мыслью своей, и душой, и чувством, и жизнью – был всегда не только в ограде церковной, но и в самом здании церковном. Это-то и было его силой, столь действовавшей на всех, кто подходил к нему, в этом-то и было его непреходящее, постоянное обаяние. Это глубоко сознавал в о. Иосифе, тогда еще почти юноше, еще недавно принявшем сан, сам К. Леонтьев. Он писал о. Иосифу в 1890 г. из Оптиной пустыни: «И Гете, и Байрон для христианства истинного очень вредны. Они могут, пожалуй, к нему привести человека путем психических антитез, – как привела к нему языческая эстетика – весь Рим и всю Грецию. Но не иначе. Я знаю по опыту моего собственного многогрешного сердца – каким горьким способом такая поэзия

приводит к Богу и Христу. Вам – это вовсе не сродно; – и Вы должны благодарить Бога, что это так. Вашей честной, чистой, прямой и твердой натуре не сродни ни демоническая муза Байрона и Гете, ни ломанная (блядь и стерва) муза mauvais genre<sup>xx</sup> Гейне и Некрасова. Ваш лиризм, в чем бы он ни выразился, в проповедях-ли (для образован<ного> класса), в публицистике-ли – должен естественно принять христианский характер<sup>xxi</sup>. И не раз на протяжении своей переписки с о. Иосифом Леонтьев признает эту «несродность» о. Иосифу многого такого, – что было сродно и кровно самому Леонтьеву. Но вот письмо Леонтьева, начинающееся тоскующим зовом в Оптину пустынь: «Голубчик вы мой, отец Иосиф! Долго я воздерживался от прямой просьбы чтобы непременно этим летом ко мне приехали, но, наконец, решился это написать»<sup>xxii</sup>. С строгою ясностью отдает Леонтьев себе отчет, что для него нет больше надежды на творчество, на дальнейшую мыслительную борьбу. А бороться нужно – и прежде всего с Владимиром Соловьевым. «Соловьев – “орел умом”, а все его противники “не много выше петухов и гусей взлетают”. Я бы еще мог что-нибудь», – сознается Леонтьев, но – сил, физических прямо сил нет вступать с ним в серьезную и открытую борьбу...»<sup>xxiii</sup>. И вдруг грустное сознание своей невозможности вступить в прямую борьбу с Соловьевым и всем сложным строем его «христианского оптимизма» сменяется у Леонтьева страстной, порывистой уверенностью, что есть человек, который по складу своего ума, по основаначалам своего мировоззрения, по мыслительным сочувствиям своим, мог бы взять на себя эту борьбу с величайшей философской силой тогдашней России, заменить в ней Леонтьева. Этот человек – молодой священник, Иосиф Фудель. «Боже! – восклицает Леонтьев. – Как бы я хотел бы Вас, молодого, сделать моим умственным наследником! Изо всех “ребят” моих я Вас считаю наиболее надежным»<sup>xxiv</sup> Последние два слова подчеркнул Леонтьев. Они оказались пророческими.

«Надежность» о. Иосифа была не только его свойством, вообще, – но в нем была еще и особая надежность – принять и хранить Леонтьевское «умственное наследство» – не только в виде бумаг и писем Леонтьева, бережно хранимых о. Иосифом, – но и в неопределимом точно виде идей, мыслей, умо- и душе-настроений, чувствований, волеизъявлений, которые должны войти в историю русской мысли и жизни с именем «Леонтьевских».

Недаром Леонтьев переключивал на о. Иосифа свою миссию бороться с Соловьевым.

«Леонтьевское» и «Соловьевское» есть два начала, определенно существующие в русской религиозно-философской мысли и всех областях личной и общественной жизни, связуемой явными или неявными нитями с религиозно-философским сознанием эпохи<sup>xxv</sup>. «Соловьевское» – всегда пытается склудить в один клуб, сцементировать в одно здание идеи внутренне не родные или, при родстве в прошлом, далеко разошедшиеся в настоящем. Правовое государство, по природе своей, столь зыблемое, и Церковь, олицетворяющую незыблемость, целокупную и критически не

препарированную Библию и учение о прогрессе, относительные «правды» всевозможных религий, даже нехристианских, и единую правду православия, и т.д. – «Соловьевское» всегда сливает, сглаживает, объединяет, создает всевозможные «оправдания» – не только «добра», но и множества других категорий, форм, установлений, институтов богословских, правовых, государственных, социальных. «Соловьевское» всегда многосоставно; у него отлив – пестр и многокрасочен так же, как у самого Соловьева. В «Соловьевском», как и в Соловьеве, есть нечто и от деспота современной философской мысли, Канта, и от голубого видения в пустыне и от либерального «Вестника Европы», и от духовной академии, и от расхожего учебника конституционного права, принятого в университете, и от ученого Гарнака, – «Соловьевское», в православии своем, переливается отливами гностическими, иудаистическими, католическими, протестантскими, кантианскими, прогрессивно-политическими, церковно-прогрессивными, прогрессивно-либерально-народническими... Оттого, в виде сочинений самого Соловьева, «Соловьевское» бывает обычно первой ступенью перехода от мировоззрения грубо-рационалистического, позитивного, расхоже-интеллигентского к религиозному: от «Общей теории права» любого либерального профессора так легко перейти к «оправданию добра»<sup>xxvi</sup>. Я не могу себе представить митрополита Филарета или какого-либо «филаретовца» из черного или белого духовенства, читающим Соловьева и в особенности сочувствующим «Соловьевскому»; я не могу себе вообразить, что найдет для себя нужного и приемлемо-наущного в Соловьеве и Соловьевском – какой-нибудь современный подвижник, строгий монах, властный епископ, христианин – простец типа какого-нибудь благочестивого книгочия-купца или военного. Но студента университета, либерального городского батюшку, прогрессивного семинариста, мечтающего о реформе церкви, некоего заинтересовавшегося христианством приват-доцента из юридического факультета, какого-нибудь члена не слишком красной партии, слегка усталого от политики, – раз они потянутся за книгой религиозной и христианской, я только и могу представить себе как за каким-либо томом Соловьева или книгой с «Соловьевским» содержанием.

И вот всех этих же людей – а они-то и есть гуща, большинство и ядро современного русского общества – я никак не могу представить себе за чтением Леонтьева или других авторов, но с «леонтьевским» содержанием. Леонтьева же знали на Афоне (как примечательно: у Соловьева пустыня с голубым откровением и кабинет редактора «Вестника Европы», у Леонтьева – монастырь со строгим послушанием и кабинет цензора), читали и читают, издает женский монастырь в Шамардине «Климента Зедергольма», распространяет – мужской (Оптина пустынь), числят в «реакционерах» даже люди философско-образованные, и – не знают до конца, не знают совершенно. У «Леонтьевского» нет пестрых отливов: его или принимают, или отвергают. Оно, в существе своем, конечно, очень сложно, гораздо сложнее «Соловьевского», но не так, не внешне, сложно, оно сложно сложностью глубины проникновения, а не

широтой охвата, как «Соловьевское». В «Леонтьевском» – в чем бы оно не выразилось: в политике, религии, искусстве, жизни – нечего делать либеральному батюшке, заинтересовавшемуся христианством доценту, собирающемуся реформировать церковь семинаристу, но «Леонтьевским» заинтересуются настоящий монах, епископ, строгий государственник, размышляющий о значении православия, как исторической силы, к нему потянется тот, кто обретает Бога в страхе и тревоге собственного душевного распада и развала. «Леонтьевское» всегда сурово; оно не сулит никаких – ни личных, ни общественных, ни государственных – мистических утешений; оно требует и все построено на отречении, отказе, отстранении того, что было до подхода к «Леонтьевскому»; оно все построено на «или», а не на «и», как у Соловьева: там – и мистика, и либерализм, и правовое государство с легким социалистическим налетом, и София, и конституция, и аскетизм, и папа, и профессор Гарнак; здесь – или либерализм – или аскетизм, или конституция – или София; или правовое государство – или мистика. Без окончательного выбора того или другого из «или» «Леонтьевского» нет. Для жизни, для современной жизни, оно неудобно: с ним в душе, в мысли, в жизнечувствовании, в воле – нельзя быть профессором нашего университета, доцентом Духовной академии, членом господствующей политической партии, заметным представителем городского белого духовенства, даже видным писателем, художником, публицистом (т.е. быть писателем можно, но видным – нельзя), но с ним же в душе, мысли, воле можно быть и ныне монахом, аскетом, отставным военным, живущим под руководством старца, бывшим государственным деятелем, никому не известным, нечитаемым писателем, простецом странником по святым местам. С Леонтьевским в душе читают более святых отцов, с Соловьевским – предпочитают научные исследования о святых отцах, с Леонтьевским в душе митрополита Филарета любят больше, чем петербургского Антония<sup>xxvii</sup>, учению о грехопадении и муках загробных уделяют больше духовного и умственного внимания, чем учению о софийности мира и преображению плоти<sup>xxviii</sup>, с Леонтьевским в душе – ищут сохранить христианские начала в мире и соблюсти то, что есть, храня память смертную и о себе, и о всем мире, с Соловьевским – пытаются обновлять эти начала и продолжать их развитие, веря, что далеки еще мировые пути его. Леонтьевское – это строгий монастырь с уставной службой, с кельей старца – в его стенах. Соловьевское – это богословская аудитория, с небольшой домашней церковью при ней, где по воскресеньям говорит проповеди профессор богословия.

Отец Иосиф был преисполнен «Леонтьевского», оно было стихией его мысли, в его строгие и скорбные тона было окрашено все мировоззрение и жизнечувствие о. Иосифа. «Леонтьевское» вошло в его личность и жизнь при участии Леонтьева, но не под давлением его. Сам Леонтьев высоко ценил духовную независимость и самостоятельность о. Иосифа. В чем же было это «Леонтьевское» в о. Иосифе, – а в сущности даже не «Леонтьевское», а «фуделевское», свое, самобытное и только Леонтьевым и на Леонтьеве воспитанное, или на оселке Леонтьевской мысли отточенное?

[И чувствовалось постоянно, как трудно ему жить с «Леонтьевским» в душе, когда все кругом отстраняет, отрицает, разрушает это «Леонтьевское». Слабло и никло долу государство. Исполнилось страшное, никому неизвестное, но превосходно знакомое о. Юсифу – предведение Леонтьева: желтый Восток победил Россию. Всемирная история явно вступала в новый период. В том, что происходило в России в 1905 г., – в этом таянье русского могущества, в этом подтачивании России холодным интернационализмом и космополитизмом русского общества, в этом жутком «своей-земли-несвоеземством» русской интеллигенции, – о. Юсиф видел наступление <...>]<sup>xxix</sup>

## VI.

Церковь православная считает высокой добродетелью в человеке «память смертную», – она требует ежедневной молитвы о даровании этого дара: «Господи, даждь ми память смертную», она считает грехом забвение о смерти, не имение «памяти смертной»<sup>xxx</sup>. И это – в понимании церкви – не специально монашеская добродетель: это добродетель, взыскивать которую обязан каждый. Нужно-ли говорить, что это – одна из самых непонятных, самых странных добродетелей в глазах века сего, ибо одна из главнейших его особенностей и есть не имение памяти смертной – ни в человеке, ни в обществе, ни в культуре.

Тот, кто имеет «память смертную», всегда памятует о собственном конце, держит мысль о смерти постоянно в уме своем, живет, действует, творит с мыслью о страшной неизбежности смерти и еще более страшном предстоящем ответе за сделанное и прожитое. Два одинаковых творческих акта, два одинаковых порядка идей, два одинаковых чувствования станут глубоко различны, смотря по тому, у кого они будут: у человека с «памятью смертной», или у человека без нее? Вся окраска мысли, весь темп чувствований станут иными при памятовании о смерти: человеку, памятующему о смерти, весь мир представляется памятующим о своей смерти, а этим перестраиваются все проэкции мировой истории, все чаяния политические, культурные, социальные, религиозные. При памяти смертной, обращенной на себя, невозможен ни позитивный, ни рационалистический взгляд на человеческую природу: человек не есть то, что открывает он о себе в позитивном опыте; не есть и то, что он мыслит о себе. Знание деятельное, – не того, что человека ждет факт смерти, – а того, что в нем есть смертное, что в нем действует закон смертного греха, что его ждет смерть, как реальное низложение его самоутверждающегося и самопоклоняющегося «я», что – больше того – его ждет, в случае торжества в нем закона греха, «смерть вторая», смерть смертей – ад,<sup>xxxi</sup> – деятельное, всепроникновенное знание всего этого истребляет самую возможность позитивных, рационалистических, безнадежно-оптимистических подходов к человеку, не позволяет творить кумиров из своего ума, воли, чувства и из того, что создано ими – из науки, искусства, государственности. При «памяти смертной», обращенной на себя, на свою человеческую природу, делается сразу и навсегда невозможным поклонение науке, вера в ее



всемогущество, философия человеческого самоутверждения. При памяти смертной, обращенной на мир, невозможно верить в бесконечность мирового процесса, в бесконечный прогресс общественный, культурный и т.д., в возможность социального – все равно, какого: экономически-социального или религиозно-социального рая на земле. Мера сил человеческих умалется при «памяти смертной»; культура личности или общества, построенная на «памяти смертной», не знает высоких самооценок, не склонна ни к какому оптимистическому проектированию на будущее, она молчалива, внутренне-сосредоточенна, явно-иерархична и вся построена на соподчинении действований, жизненных, культурных достижений, и научных исканий все подчиняющему основному началу своему – страху Божию. «Память смерти» делает науку замкнутой в себе, не мечтательной, строгой, холодной, не льстящей человеческой природе, всегда ведающей тесные пределы своих возможностей: ее пафос – не всепознание, а пессимистическое «*ignoramus et ignorabimus*»<sup>xxxii</sup>. «Память смерти» в истории, государственности, историческом процессе вселенной есть память о гибели цивилизаций, о крушении народов и государств, о неизбежном оскудении всех исторических сил мировых, о конце всемирной истории. При такой «памяти смертной», возможно-ли иметь самоуверчивую и самодовольную веру в прогресс, убежденность в грядущем наступлении мирового рая, – социалистического или хилиастического? Человек, опытно испытывавший всю греховную малость природы человеческой, в совершенстве и полноте хранящий «память смертную», есть аскет, монах, подвижник, – и оттого он не верит в духовный прогресс в человечестве, стремясь к совершенствованию лишь внутри себя. Политик, хранящий своеобразную историко-политическую память смертную, знает, что

Будет некогда день и погибнет священная Троя,  
Древний погибнет Приам и народ копыеносца Приама,  
\_xxxiii

и оттого он – непременно консерватор, охранитель того, что есть, и боится оптимистических проэций будущего, и пресекает всячески попытки перенести их в настоящее, а что иное революции, как не попытки осуществить мечтаемые проэкции будущего (напр., социализм) в настоящем? Ученый, с памятью смертной в уме, постоянно держит науку в пределах факта, в скудной области того, что есть, не решает «мировых загадок»; он не говорит и не учит о «всемогуществе науки», он не ищет мировых предвидений; он подобен Пастеру, в зените своей научной славы заявлявшему: «я верю, как невежественный бретонский крестьянин; еслиб я знал в науке еще больше, я бы верил, как жена этого крестьянина».

Трудно дать сколько-нибудь точный образ культуры и жизни, личности и общества, религии и государства, науки и искусства, хранящих память смертную и на ней все строящих, но легко дать точный образ личности, жизни, культуры, не хранящих памяти смертной и горячо верящих в некое

perpetuum mobile жизни и на этой, ничем не оправданной вере, как на точном знании, пытающихся все построить. Это – современный европеец, это – наша культура, это – мы сами.

О. Иосиф казался, даже при самом горячем и деятельном участии его в делах наших, общественных, обще-культурных, церковных, – всегда несколько чужим, не-нашим, иным. Всегда было некое разстояние между ним и нами, даже если мы работали в одном с ним деле, работали рядом, дружно и единомысленно. Это оттого, что он в полноте обладал «памятью смертной» – обращенной на себя, на человека, на общество, на государство, на культуру, науку, даже на церковь самую. В его прекрасном и строгом, худом лице всегда светилась эта память смертная, она дала ему мудрую ясность и строгость мысли, но она же изнутри напитала его непреходящей грустью, она отделяла его от нас, делала человеком другой, чем мы, культуры, она дала ему какое-то особое, мыслительное смирение, какую-то особую строгую меру себя. Самые пламенные думы его о России, о ее будущем, о судьбе православия русского, – были все таки, в глубине своей, исполнены памятосмертной печалью, и в этом сильнее всего проявлялось его «леонтьевское», или – что то же, – его «фуделевское». Потому-то ему, почти юноше, Леонтьев передоверил свою борьбу с Соловьевым и «Соловьевским».

## VII.

О. И. Фудель был то, о чем Леонтьев только мечтал, как о будущем типе европейского и, прежде всего, русского человека. Страница Леонтьева, этой мечте посвященная, есть лучшая характеристика о. Иосифа с указанной стороны.

«Благоденственная надежда, – что европейская демократия, возобладав везде, обратит на веки вечные весь мир в свободно-равноценное общежитие каких-то «средних» и благоразумных людей, которые будут совершенно счастливы одним мирным и справедливым разделением труда, – противоречит всему: она противна нашим эстетическим идеалам, она противоречит нашим религиозным верованиям (предрекающим конец земного мира после ужасов последнего разстройства); противоречит православным понятиям, ибо высшая степень нравственных сил обнаруживается не при организованном покое, а при свободном выборе добра и зла и особенно тогда, когда это очень трудно и опасно. Надежда эта противоречит даже здравому рационализму и науке, и вот по какой простой причине: всякий организм умирает; всякий органический процесс кончается, всякий эволюционный процесс достигает высшей точки, потом спускается ниже и ниже, идет к своему разрешению. Если человечество есть явление живое, органическое, развивающееся, то оно должно же когда-нибудь погибнуть и закончить свое земное существование. Если бы одна эта мысль о необходимом, о неизбежном конце так же часто мелькала в умах наших, как мелькает до сих пор в умах скудная мысль о «всеобщем мире», о всеблагих плодах физико-химических открытий и эгалитарной свободы, то результат от подобного, даже и полусмутного

представления конца, был бы великий! Перестали бы любить образ «среднего европейского» человека, безбожного и прозаического, но дельного и честного, безбожно и плоско, хотя весьма честно и дельно возседающего всегда и всюду на каких-то всеполезных и всемирных конференциях, заседаниях, съездах и митингах. Перестали бы верить, что вся предыдущая история была лишь педагогическим и страдальческим подготовлением к умеренному и аккуратному благоденствию миллионов и миллионов безличных людей и перестали бы во имя этого идеала разрушать все преграды, которые кладут еще до сих пор, слава Богу, этому развитию убийственного бездушия, с одной стороны, государственность и войны, с другой – требования положительных религий»<sup>1</sup>.

Одна из тайн глубокой, совершенно исключительной привязанности Леонтьева к о. Иосифу, одна из разгадок того, почему именно его считал он своим наследником, – повторю, – и заключается именно в том, что о. Иосиф, и в глазах Леонтьева, и в действительности, уже был человеком леонтьевской культуры, в которой все эти «еслибы» теряли свою условность и о которой нужно все это говорить без всяких «бы» и «еслибы». В о. Иосифе не было и доли того христианского всемирно-исторического оптимизма, того «розового христианства», которое есть христианство со вкрапленными в него жилами совсем других течений жизни и мысли: оптимистического рационализма, общественного эвдемонизма, анти-аскетической мистики; все это, присущее, в разных дозах и разных сочетаниях, и Достоевскому, и Толстому, и Вл. Соловьеву и их «христианствам», и столь ненавистное Леонтьеву, вполне отсутствовало в о. Иосифе даже в ранние эпохи его жизни.

Леонтьев страстно ждал, что русская жизнь даст еще людей, которые, пройдя умственно, весь искус европейской культуры наших дней, отметутся от нее, отрекутся сознательно, продуманно, с глубокой испытанностью и убежденностью от ее оптимистической «веры» – в человека, в прогресс, в науку, в эвдемонистическое будущее. Он ждал, что эти люди, стоя, по своему развитию, образованию, умственным силам, на высоте европейской культуры, будут ее внутренними врагами, будут искать и найдут совсем другие, противоположные основы для личности, жизни и культуры: в век атеизма будут пламенными христианами, в век эвдемонизма – глубокими общественными пессимистами, в эпоху житейского утилитаризма и всеобщего пошлого довольства и комфорта – строгими аскетами, в эпоху расслабления государственных организмов ростом всевозможных прав и социальных послаблений – железными государственниками... В основе же основ жизни, мысли, деятельности, культуры этих новых людей должна лежать глубокая, всесторонняя религиозность, – кончаемая вечными источниками религии отцов: страхом Божиим, исповеданием немощи человеческой, памятью смертной, памятованием о существовании загробном, аскетическим подвижничеством. Леонтьев ждал напряженно, что эти новые люди войдут в русскую жизнь – как священники, монахи, государственные деятели, писатели,

---

<sup>1</sup> Леонтьев. Т. VII, 240-241 стр.

мыслители, – и сделают ее крепкой, самобытной, обладающей своей особой культурой, хранящей память смертную. Леонтьев дождался одного такого человека в лице о. Иосифа Фуделя.

«Надежды серьезные надо основывать на такой религиозности, – писал Леонтьев в статье со знаменитым названием «Добрые вести»<sup>2</sup>, – которая в силах перерости рационализм и отрицание, а не на такой, которая еще не доросла до них, – на такой вере, которая умеет справляться с требованиями научно-образовательного ума, а не на такой, при которой эти требования слабы». Эта религиозность, переросшая дух века, преодолевшая его мысль, переволившая его волю, и была религиозность отца Иосифа. Религиозность его справилась и умела справляться со всем, с чем не справляются обычно многие верующие умы наших дней, – с этой ничем неоправданной верой в земное блаженство, государственное-ли, научно-культурное, социалистическое-ли, или даже религиозное, но все так однообразно заключающее собою всемирную историю, – с легко-привлекательным, неприметным, а тем более опасным и печальным обмирщением христианства, которое имеет многие оттенки: протестантские, католические, обще-культурные, но которое во всех ветвях своих сводится к забвению самых слов Христа: «Царство Мое не от мира сего».

Не говоря уже о мирянах, как падко на последний соблазн наше белое духовенство, наше академическое богословие! Сколько примеров из недавнего и давнего прошлого православия можно было бы тут привести! Безмысленное негодование на отлучение Л. Толстого от церкви; священники, служившие панихиды по отлученному; академические, профессорские, литературные походы против монашества; Тареевский призыв на борьбу с богословием св. отцов, как аскетическим<sup>xxxiv</sup>; епископ, приглашающий священников присоединяться с иконами и хоругвями к шествиям с красными знаменами; борьба на епархиальных съездах 1917 г. с епископской властью; заявления священников и профессоров богословия, что христианство и социализм – одно<sup>xxxv</sup>, и т.д., и т.д., – все это грозные факты, все растущие, которым всем имя – обмирщение православия, подчинение его духу века сего. Как беспредельно далек от всего этого, от жуткого и многоликого обмирщения православия, был о. Иосиф, – и именно потому, что безмерно перерос все это; перерос еще в молодости, еще тогда он понял навсегда, что Христово «не от мира сего» – выражено в христианстве подвижничества и строгой жертвы, а потому всякий вид христианского служения – иерейство в миру, создание «домашней церкви в семье», христианский брак, христианская школа и учительство, наука и писательство, общественная деятельность – все это есть лишь виды одного и того же целого – христианской борьбы с миром, который «во зле лежит», ради «мира во зле не лежащего, загробного», и все это монашество и аскетизм *sui generis*<sup>xxxvi</sup>.

О. Иосиф принял на себя особую аскезу – иерейского служения в миру.

Для Леонтьева, собиравшего, живя в Оптиной пустыни, под прямым руководством о. Амвросия, «Добрые вести» о новом движении среди русской

---

<sup>2</sup> Т. VII, 401.

молодежи – к монастырю, к строгому христианству, особо «доброй вестью» была весть об иерействе о. Иосифа. Вот что он писал в статье «Добрые вести»:

«Окончивший университетский курс в Москве юноша, весьма даровитый и характером смелый и самобытный, страстно желал пойти в священники, но он не хотел отдаться своему влечению, не испросив здесь на этот шаг благословения. В семье его были этому серьезные препятствия, – отец его православный, но мать католичка, и она приходила в ужас от мысли, что сын ее будет схизматическим священником. Она тревожила совесть религиозного сына угрозой, что ей перед смертью ксендзы не дадут причаститься.

Старец сказал, чтоб он этого не боялся.

Теперь этот молодой человек уже скоро год священником в одном из значительных городов Западного края и судьбой своей доволен»<sup>xxxvii</sup>.

Леонтьев писал свою «добрую весть», не называя, кто этот молодой – «смелый, самостоятельный и даровитый» юноша. Это был – отец Иосиф Фудель.

С какими же мыслями шел он в священники, что клал он в основу своего иерейского служения? Некоторый ответ можно извлечь из переписки Леонтьева с о. Иосифом. Вот письмо Леонтьева к о. Иосифу из Оптиной пустыни от 1 мая 1890 г. В третьем разделе этого письма, озаглавленном «О христианском пессимизме», очевидно, отвечая на мысли о. Иосифа о священстве и священниках, о тех, какие есть, и о тех, какие должны быть, Леонтьев пишет:

«Вы говорите, что многие священники (из Академических) думают все только об “общественной пользе, о любви и т.д.” Я же Вам скажу, что со многими монахами воюю за то, что они зато вовсе не хотят об этом думать... (От<ец> Амвросий думает, но он алмаз среди грубых гранитов, по выражению Гоголя). Да – это беда наша русская, что одни создают свои общественные христианские идеалы не на аскетической сущности, – а другие служа лично по совести аскетическому идеалу – знать не хотят общественной жизни»<sup>xxxviii</sup>.

Священник – служитель Христов; служение Христу требует подвига, духовного совершенствования, аскезы; потому хотя служение священника протекает в міру, оно построяется, как и служение иноческое «на аскетической сущности» христианства: священник должен и личную свою жизнь построить на «аскетической сущности», и учить паству свою на этой же сущности строить свою семейную и общественную жизнь. Через священника общецерковные аскетические начала должны водворяться в жизни семейной и общественной. Он учит и воспитывает паству «создавать общественные христианские идеалы на аскетической сущности. Как аскету монаху, так и священнику, вносящему в мір аскетическое начало, нельзя говорить только о любви, хотя бы и христианской, его идеалом должно быть не «польза общественная», а все то же, строяемое на страхе Божиим, как начале премудрости, «спасение личное», спасение загробное, которому учит опытное подвижничество, и школой которого является монастырь. Священник должен учиться в этой школе и никогда не порывать с ней связи. Он должен помнить, что вся сила, вся опытная мудрость его служения исходит из монастыря, из кельи подвижника,

ибо только там сияют своей совершенной жизнью художники совершенства – строители спасения собственной души. Священство есть аскетический подвиг в міру, учащий и мір взыскивать путь христианского совершенства, путь внутреннего преображения человека, приводящий к благодатному преображению міра.

Так думал о. Иосиф, и учился этому подвигу у великого подвижника – у благодатного оптинского старца о. Амвросия.

Оптинское благословение почивало всегда на служении о. Иосифа, и веяло от него духом оптинским, духом христианским, строго-церковным. Его христианство было лично – аскетическое, общественно-деятельное, – но деятельное в духе тоже строгой церковности, всеобщей аскезы, памятующей о смерти и человека, и міра, и всего творимого им. Леонтьев радовался бы на его пастырскую, на его церковно-общественную деятельность, на его понимание общественных и государственных задач церкви. Ничего – обмирщающего не приносил в нее отец Иосиф; никакого прослоения современным – научно-общественным эвдемонизмом, ясное сознание, что и Церковь как и Ее Основатель, «не мир, но меч» приносит на землю и сводит в мир огонь разделения, и жаждет, чтоб этот огонь разгорелся. Личная благодать, отзывчивость, строгая внимательность к людям, – пастырское бдение на страже каждой души христианской, – и в то же время какая-то иноческая чинность, строгость, твердость во всем. Пастырство – не только служение, но и власть, – и это было явно и глубоко прекрасно в отце Иосифе. Долголетнее священство при тюремной церкви, многолетнее законоучительство, приходское пастырство, духовное писательство – во все это вносил о. Иосиф дух строгой церковности, дух отметания начал современного, противоборствующего Христу міра – не тем, что не знал этих начал, а тем, что преодолел их в себе, и хотел, чтоб преодолели их русская церковность, общественность, и государственность.

### VIII.

В те годы, когда я знал о. Иосифа, – чувствовалось постоянно, как трудно ему жить с его «памятью смертной» человеку, культуре, государству – в душе, с Леонтьевским закалом ума, с жаждой строгой церковности, крепкой государственности и самобытной, не духом века сего пропитанной, культуры для России, как с каждым годом труднее становилось жить в России с таким укладом личности и мысли, когда все кругом отменяло, отрицало, разрушало это «Леонтьевское».

Слабло и никло долу русское государство. Было ясно умам Леонтьевского склада, что с самой японской войны происходит таяние русской государственности, оскудение государственного могущества. Исполнялись страшные предведения Леонтьева, о которых никто не знал, но которые так хорошо ведомы были о. Иосифу. Желтый Восток торжествовал победу над Россией – свою первую победу над Европой. Европа явно вступала в новый период свой – тот самый период «предсмертного смещения», о котором так много писал Леонтьев, – и первой в этот период вступала Россия.

Интернационализм и космополитизм русской интеллигенции холодным жалом подтачивал Россию. Жуткое «своей-земли-несвоеземство» русского общества подготовляло события последующих грозных лет. Россия, как дерево, изнутри сохла, ее древесина явно теряла свой здоровый прежний аромат, прививки, делаемые к этому дереву, явно были во вред ему: прививалось что-то инородное, иносоставное, разлагающее. Темный Ангел гибели пролетал над Россией.

С «Леонтьевским» в душе и чутье можно было это видеть. И о. Иосиф видел это.

Другие называли это русским возрождением, именовали занимающейся зарей русского исторического будущего. Наступил 17-й год. Я помню дни весеннего ликования – март этого года. Оно было всеобщим. Оно проникало не только в кабинет ученого, в школу, в детскую – оно проникало туда, куда не должно было проникать: в Храм. Раздавались речи о том, что революция несет с собой свободу церкви, что демократия – и есть христианство, а социализм есть то, чему должно учить с церковного амвона. Епископ призывал духовенство, в открытом письме, присоединиться к шествиям с красными флагами, а другой епископ, правящий древней метрополией, полагал на этом письме сочувственную резолюцию, предлагая подчиненному ему духовенству следовать этому призыву. В Духовных академиях шло изгнание монашества, подтачивался и развенчивался самый идеал монашества и аскетизма, на съездах белого духовенства проводилось буйное насаждение демократических начал в церкви, свергались епископы, иногда только за то, что они – епископы, т.е. власть имущие; внезапно оказалось, что старое правительство заблуждалось, полагая, что самые крайние наши демократы и революционеры живут в Женеве и Лондоне, – они, оказалось, жили в разных Пропадинсках, в церковных домах, в квартирах отцов протоиереев, в бывших бурсах, чуть не в церковных сторожках. То, что я условно называл выше «Соловьевским» в нашей церкви, мысли и жизни, – как противоположное «Леонтьевскому», – ликовало в эти дни. Реформа церкви; Возвращение к перво-христианству; Выявление мистического лица православия; Церковь всегда сочувственна политической и всяческой свободе; Церковь и ее нужда в православном государстве; Социальная природа христианства есть его основа; Церковь есть религиозная демократия; Церковь есть, прежде всего, всяческая свобода; Православие требует соединения церквей и т.д., и т.д. – и много множество идей того же порядка и типа (без чего не может жить «Соловьевское») – вихрем пронеслось по России, и идеи эти отложились в дела, в факты. Во имя этих идей, этого порядка – пусть не отчетливо осознанных, но ясно воспринятых, – во имя понимания христианства, как земного устроительства на началах «любви», свергали епископов, объявляли, что христианство – и социализм – одно и то же, поднимали внутри-церковный поход против монастырей и монашества, утверждали, что аскетизм – извратил христианство и что потому задача нового богословия есть борьба с богословием св. отцов, устроили новые сообщества для скорейшего соединения церквей, предавались предавались

церковному реформонеиствовству, – хочется сказать сильнее: реформобесию! Все это хотело служить и служило одному идеалу: оземлению христианства. Принижалось всё в нем строгое, грозное, карающее, всё, учащее послушанию, смирению, страху Божию, – учение о грехах, о несовершенстве человеческой природы, о страхе Божиим, заповедь о нелюбви к миру и всему, что в мире, памятование о страшном суде, «память смертная». Облик Господа Христа оземляли и тем делали нецерковным: икона Его – где пишется строгий Лик Его, Царя царей, – сменялась картиной, на которой так по-человечески благодушно Его лицо, галилейского учителя Любви... Казалось, в Евангелии вовсе и нет страниц, повествующих о страшном суде с муками и огнем, что мир, мир, мир и только мир принес на землю Христос и благое социальное устройство «мира», а не меч, не огонь разделения, не вражду к «миру», что всё Евангелие только – доброе и мягкое сочинение некоего человеколюбца, который в наши дни был бы если не социалистом, как думал когда-то малообразованный вождь русской интеллигенции, Белинский, то наверное уж либералом с широкой программой социальных реформ.

Какая мука была переживать все это человеку с «Леонтьевским» в душе! Это было самое плохое, самое слабое «Соловьевское», от которого с ужасом отшатнулся бы сам Соловьев, – и оно-то грозило стать у власти в церкви, определять собою ход церковной жизни. Это была богословствующая церковь, устроенная редакциями «Вестника Европы» и «Русского Богатства», с наиболее бездарными из их сотрудников. Но и обратное всему этому «Леонтьевское», поскольку оно олицетворяло в людях церкви, уходило в себя, таилось, явно немоществовало, – и не хотело или не могло вооружиться достойно и полно на борьбу с «Соловьевским». И опять, опять мог бы повторить К. Леонтьев – отцу Иосифу сказанное в письме 27 лет назад: «Вы говорите, что многие священники (из академиков) думают все только об “общественной пользе”, “о любви” и т.д. Я же Вам скажу, что со многими монахами воюю за то, что они зато вовсе не хотят об этом думать. (От<ец> Амвросий думает, но он алмаз среди грубых гранитов по выражению Гоголя.) Да это беда наша русская, что одни создают свои общественные христианские идеалы не на аскетической сущности, а другие – служба лично по совести аскетическому идеалу, – знать не хотят общественной жизни».

Реформа церковная, которой ждал о. Иосиф и которая явно была неотложна, грозила проходить под знаком забвения самых устоев и основ церковности. Воздвижение нового здания русской церкви совершалось в ближайшем соседстве с совсем иной постройкой. Оно совершалось в черной тени, падающей от строящейся Вавилонской башни современного государства. Для постройки этой башни ломали все, что ей мешало, все вековые здания, все старые фундаменты; она строилась по плану, столь чуждому и враждебному церкви, – продиктованному поклонением человеку, верой в прогресс, в земное счастье человечества; она возводилась с явной враждой к Богу, приемами и методами работы, – противоположными тем, каким должно идти строительство церковное. Но работа шла бойко, быстро, шумливо,



многоголосно, многолюдно, – и этот головокружительный темп работы, ее шумливость, веселость, ее упор в человеческое «я», в вольность и самозаконность каждого, ее песни и выкрики – заражали, передавались тем, которые должны были совершать совсем другой труд, совсем с другими целями, в совсем иных условиях: в тишине, благоговении, строгом чинопочинении, в страхе Божиим. Здание церковное зачали строить по методу, плану и с пафосом революционного строительства современного государства.

Помню, мы были с о. Иосифом на лекции Булгакова «Христианство и социализм». Лекция была вдумчивая, осторожная, глубокомысленная. И толпа слушавших – учащаяся молодежь – интеллигенция, рабочие – была видимо разочарована: лектор и намерения не имел доказывать, что социализм призван сменить христианство. В перерыве какой-то студент взбежал на кафедру и стал призывать всех в устроенное им «Демократическое Братство обновления вселенского христианства».

– Долой самаринско-новоселовское православие! – кричал он. – Да здравствует демократическое христианство.

Появились листки и воззвания этого нового братства. Оказалось, что во главе этого братства с нелепейшим названием стал профессор богословия университета, бывший духовный цензор протоиерей Н.И. Боголюбский. Нелепость названия, очевидно, не смущала, а наоборот, привлекала: так заманчиво устроить демократическое братство из студентов, курсисток и либеральных батюшек с целью, ни более, ни менее, как «обновить вселенское православие».

В сравнении с этим братством, возглавляемым профессором богословия, не казались совсем уже глупыми те дьяконы, которые морщились начинать обедню возгласами: «благослови, владыко», а не прочь были начать: «разрешите, товарищ!» – те псаломщики, которые демократизировали псалтырь, выпускали в псалмах слова «царь, господин, владыка» и чья демократическая совесть смущалась читать молитву «Царю небесный...» Духовенство, в общей своей массе, особенно городское духовенство, из академиков, задающее тон, – в эти грозные дни не почувствовало нисколько, что враг стоит у врат Церкви, что власть верховная делается явно атеистической и антихристианской<sup>xxxix</sup>, что народу русскому предстоит величайший атеистический искуc, который он может не выдержать. В эти грозные дни духовенство должно было забыть, что оно – сословие, и вспомнить и знать, что оно – слуга и опора Церкви, тот страж, который должен не пускать врага в церковные врата, тот наставник и кормчий, который должен править совестью и сознанием народным. Оно поступило как раз наоборот: оно именно вспомнило, что оно – сословие, что у него есть всяческие счета с прошлым, и оно принялось их сводить. Оно вспомнило, что оно долго и подолгу стояло в приемных архиереев, а потому решило, что теперь нужно и архиереям постоять в передних у протоиереев, а протоиереям – у псаломщиков. Оно вспомнило, что бывали слишком самовластные архиереи – и стало колебать каноническую власть епископов. Как бунтовавший мужик припоминал помещику, сколько

раз его предки были выпороты при Аракчееве или Закревском, тем только выражая свое участие в судьбе России, так духовенство – в огромном своем большинстве – задачу времени поняло чисто сословно, совершенно не поняв, какая туча нависла над Россией и Церковью.

## IX.

Эти годы 1917-18 г. были годами кипучей, совершенно непосильной церковно-общественной работы о. Иосифа. Для него не было и не могло быть никаких иллюзий в том, что совершалось в России. Усилить Церковь, усилить ее церковно, укрепить все, что было церковно-ценного и церковно-истинного в жизни, воцерковить жизнь, а не обмирщить церковь, – вот была основная задача этой деятельности.

За политическим шумом, за внутри-сословными революционными увлечениями духовенства – дело церковное стояло неделаемым. Возрождение приходской жизни шло необыкновенно вяло и слабо, а поскольку оно было, – хотя и в малых размерах, – оно совершалось больше по почину и усилиям мирян, чем духовенства. Было ясно людям с леонтьевским складом мышления, что новое государство – все равно какое: либеральное или социалистическое, – сделает все, чтобы обезсилить церковь; что оно отнимет у нее не только имущество, но и школу, печать, постарается создать крепкие преграды между церковью и народом, приложит все усилия, чтобы разцерковить народ. И ничего почти – парализующего эти усилия – духовенство не делало. Оно не создало, пока было время, ни новых приходов, ни новой организации преподавания Закона Божия. Оно не постаралось усилить своего влияния на народ чисто-церковными, молитвенными, богослужебными, проповедническими воздействиями. Оно предпочитало усиливать свое влияние на архиереев. И враг оказался не только у врат церкви, – он вошел и за ограду, проник и в самый храм, – конечно, все это было ясным «попущением», но и явною же немощью человеческою.

Отец Иосиф яснее, чем кто-либо, сознавал все это. Он начал с того, что организовал свой приход. У него, одного из первых в Москве, состоялись церковные собрания, была налажена приходская организация, создана приходская библиотека. К осени 1917 г. он уже работал – это была первая мысль в Москве – над созданием союза приходов. По его настоянию была сделана попытка издавать приходской журнал. Он много работал по приходскому вопросу. Но он видел необходимость более прямого воздействия на духовенство. Он явился основателем и деятельнейшим участником московских пастырских собраний, которые так и именовали тогда «фуделевскими собраниями». Обо всей этой сложной, поглощающей огромное количество времени и физических и духовных сил, работе о. Иосифа должны рассказать те, кто были ее соучастниками и прямыми свидетелями. Я пишу об этом лишь в связи с общею памятью моею о духовном и умственном облике о. Иосифа, как он мною воспринят. Зачем были нужны эти «пастырские собрания» ему?

Он видел, что истинное несчастье современной русской церковности в том, что она не достаточно церковна, что деятельность духовенства слаба, а когда бывает сколько-нибудь оживлена, то не на почве чисто и строго церковной, а на совсем иной, чисто общественной, политической и т.д. Возможность таких сочетаний противосмысленных и внутренне-исключающих друг друга понятий, как «Демократическое братство возрождения вселенского православия», – представлялась ему не случайной: она свидетельствовала о том подмене понятий, о той утрате критериев чистой церковности, которая оказывалась серьезной болезнью значительной и влиятельнейшей части русского духовенства. Он понимал, что Церковь, питаемая и обновляемая из родников не чисто церковных, мало церковных или вовсе не церковных (каковы: идеи и факты такого порядка – как демократизм, либерализм, социализм и т.д.) – лишается всякой крепости, силы и чистоты, обмирщается и тем самым, как миру подобная, делается миру же и ненужной. И, – деятельный, всегда прямой и твердый, – он принял на себя труд создать для самого духовенства необходимую церковную форму обращения, чтобы пробудить в нем чисто-церковное сознание, подвинуть его на церковный труд, неотложно-важный в грозные дни колебаний народной совести и духа, чтобы духовенство научилось понимать, какая ответственность за судьбы православия в России лежит на нем в страшные дни испытания, когда враг пришел «по душу русского народа».

Ему-то, с его ясным и строгим умом (прошедшим леонтьевский закал) было ясно, на каком страшном пороге стоит Россия с ее Церковью, народным самосознанием и государственностью. Что бы ни было за этим порогом, – а верить в безнадежно-оптимистические проекции русского будущего отец Иосиф не мог, – в настоящем нужно творить работу Господню, – нужно, не покладая рук, строить здание церковное по плану, вышедшему из рук отцов церкви, подвижников и святых. Он и творил эту работу – безустанно, строго, убежденно. Помню его на одном частном небольшом собрании перед выборами московского митрополита. Собралось несколько весьма известных и влиятельных в церковно-общественном мире деятелей. Обсуждали вопрос – на ком же нужно остановиться, как на желаемом кандидате на московскую кафедру.

Назвали одного из самых известных имен – в русском епископстве, – властного владыку, известного своим политическим и церковным консерватизмом, блестящего оратора, талантливого богослова, деятельного администратора, – и, вдобавок, еще не старого годами. И о. Иосиф, – кого большинство московского духовенства считало политическим и церковным консерватором, – был в числе первых, кто решительно отверг эту кандидатуру.

Назвали другое имя, хорошо известное и – с доброй стороны – церковной Москве. После я узнал, что о. Иосиф близко знал этого владыку, связан был с ним весьма глубокой связью и привязанностью. Тут – вокруг этого имени – не было ни консерватизма, ни политики, ни тени какой-либо крутости. Владыка славился своей благосклонностью и мягкостью, и справедливо, к тому же

почитался высоко за благоговейность и молитвенность своего служения. Имя было чисто, ясно, по-своему высоко. Но тут же о. Иосиф первый сказал:

– Не годится.

И после его решительного отрицательного суждения, всеми без разсуждения принятого, кандидатура любимого многими московского епископа отпала сама собой.

Я понял, почему он так решал в том и другом случае.

Он не выбирал ни консерватора, ни либерала, ни богослова, ни оратора, ни крутого, ни мягкого человека, ни благоговейного служителя, ни твердого администратора, – он выбирал епископа, и при том епископа на древний престол Москвы, духовно возглавляющий русское епископство, на престол древних святителей-чудотворцев, на престол митрополита Филарета. Он знал, что при суждении о том, кто должен быть на этом престоле, должно отбросить все критерии, кроме одного – чисто церковного. А для церкви было не то нужно, чтобы новый митрополит был консерватор или либерал, крутой или мягкий человек, богослов или служелюбец, а то, чтоб он был епископ в полноте всего значения, всего великого объема, которые заключены в этом слове, смысл которого до конца разъяснен еще древними отцами церкви, еще мужами апостольскими, еще св. Игнатием Богоносцем<sup>xi</sup>. А этому – чисто и глубочайше церковному критерию – по суждению о. Иосифа – не удовлетворяли оба владыки.

Отец Иосиф один из первых, прямо и решительно выдвинул кандидатуру Самарина, столь неожиданную для многих. Было ясно, почему он стоит за эту кандидатуру<sup>xii</sup>.

Самарин, в его глазах, при несомненной своей – даже для противников его – строгой, ясно и твердой церковности, ввел бы в русскую иерархию ту спокойную энергию, то ясное сознание задач церковной современности, ту чуждую всякой политике, – из сознания безпредельной высоты епископского служения, – ревность к церковному делу, которые так редки в русской иерархии и так необходимы для русской церкви. В Самарине можно было не бояться проявления застарелых недостатков и русского духовенства, как сословия, его сословных исторически-объяснимых, слабостей; строгая церковность и благоговение перед церковью заставило бы его забыть и сословность того круга, из которого он вышел. Это был бы – по мнению отца Иосифа – епископ, лишенный недостатков и слабостей той среды, из которой обыкновенно поставлялись русские епископы. Одно это, – даже если бы не было ничего другого, – было бы большим счастьем для русской иерархии.

Это сознавали и некоторые из противников кандидатуры Самарина. Помню отзыв одного видного и ученого московского протоиерея:

– Самарин был бы для церкви хорош, а для духовенства тяжел.

Отец Иосиф всегда думал о Церкви, а не о духовенстве.

В дни выборов митрополита, когда шли собрания по благочиниям, в квартиру о. Иосифа то и дело сходились обменяться с ним мыслями, поделиться впечатлениями сочувствующие его взгляду на дело, – священники

и миряне. Но о. Иосифу так и не пришлось голосовать за Самарина. Собираясь на выборы, на собрание, где должны были записками наметить кандидатов, он забыл, в торопях и волнении, свой удостоверительный билет дома, и его не допустили к урне. Если б он положил свою записку, Самарин получил бы на предварительной баллотировке на 1 голос больше архиепископа Тихона. Кто знает, какое бы это произвело впечатление: большинство было бы у Самарина, а большинство людей любят следовать какому угодно, но большинству. Без записки о. Иосифа они оба получили равное число голосов<sup>xlii</sup>.

\*\*\*

Тяжело и больно писать – да и не нужно – о той скорби и печали, которую испытывал отец Иосиф в дни и месяцы, последовавшие за резким переломом в отношении революции к церкви. Нового, неожиданного, внезапного, как для многих других, для него не было здесь ничего. Личины революции, демократизма, социализма спали; явились их истинные облики, и те, кто верили в эти личины, как в лица, были поражены, испуганы, утрачены. Но о. Иосиф – своим «Леонтьевским» в мысли и мировоззрении – и видел их всегда не под личинами, а в их подлинных обликах. Было горе, была скорбь, но не было удивления. И оттого, что это было так, в этой скорби без удивления, без утешающей внезапности явления: «кто бы это мог думать? этого нельзя было предполагать и предвидеть!» – была еще бóльшая скорбь и более глубокая печаль, ибо есть великое несчастье в способности видеть, когда окружающие не видят, и слышать, когда кругом не слышат. Эта скорбь росла в нем до самой его смерти.

Х.

В своих заметках и думах об отце Иосифе я не держусь никакой хронологической последовательности: пишу так, как о нем мне вспоминается, как о нем мне думается.

Август 1916 года. Я приехал из Крыма и зашел как то к о. Иосифу. В его кабинете, вдвоем мы оба заговорили о том, что приближается четвертьвековая годовщина кончины Леонтьева. Как ее отметить?

– Я отслужу обедню по нем у себя и сделаю объявление в газетах. А там как хотят.

Я подал мысль, что должно устроить публичное заседание Религиозно-философского общества, посвященное Леонтьеву. Он согласился со мной. Я подчеркивал, что заседание должно быть публичным, с самым широким оповещением о нем: о Леонтьеве молчали 25 лет – нужно, по крайней мере, чтобы слышали, когда будут говорить о нем. Нужно, чтобы и панихида по нем и обедня были не от частного лица, а от того же Религиозно-философского общества: это свидетельствовало бы хоть о позднем, но явном признании религиозно-философского значения Леонтьева для России. О. Иосиф одобрил это. Пришла нам мысль привлечь к чествованию Леонтьева и Братство Четырех Святителей Московских<sup>xliii</sup>. Мы оба принялись писать для этих

заседаний. Было совместно решено, что я выступлю в обоих заседаниях с докладами, в Соловьевском обществе – «Писатель-послушник»<sup>xliv</sup>, в Братстве – «Монастырь и старчество в жизни Леонтьева»<sup>xlv</sup>. О. Иосиф решил писать об отношениях Леонтьева к Вл. Соловьеву. Он особенно настаивал, чтобы я писал по письмам Леонтьева.

– Их совершенно не знают. Их никто не читал, – говорил он, – а между тем, в них – весь Леонтьев: тут он прям, ясен, всякую мысль доводит до конца.

Он отдал мне пачку неизданных писем Леонтьева в Оптину пустынь<sup>xlvi</sup>.

Я поступил по этому совету. Письма Леонтьева, действительно, поразили меня: это был сам Леонтьев всецелый, во всей своей глубине и подлинности. Я решил писать свои доклады так, чтобы в них «моего» почти не было. Один из них – соловьевский – я даже начал словами: «Слово, данное мне, я передаю Леонтьеву: пусть он сам говорит за себя». Все, что было в моих докладах, от меня, было лишь скрепой, соединительными звеньями леонтьевских мыслей, отрывков, пламенных исповеданий. Я сказал о. Иосифу, что не прежде буду все это читать, пока не получу его одобрения докладам и в целом, и в частности.

В заседании Совета Соловьевского Общества едва прошло мое предложение об устройении публичного заседания, но обедня и панихида от имени Общества были решительно отклонены.

– Как хотят, – опять повторил о. Иосиф. – Я буду служить от себя.

Накануне первого из заседаний – братского – я пришел вечером к о. Иосифу с своими докладами. Я прочел их ему в его спальне. Он усадил меня рядом с собой – и внимательно слушал. Я просил его прямо сказать: принимает-ли он все высказанное в моих докладах, за свое, за такое, что и он, друг и ближайший к Леонтьеву человек, мог бы сказать о нем? Если – да, то я читаю доклады без изменения, если нет, то изменю так, как он укажет.

Он сразу ответил.

– Я со всем согласен. Ничего не нужно изменять.

Братское заседание вышло простое, трогательное и поистине «Леонтьевского» духа. Оно было в митрополичьих покоях Чудова монастыря. Был Владыка Арсений<sup>xlvii</sup>, и Владыка Димитрий<sup>xlviii</sup> (– приехал, Сережа, тебя послушать, – ласково и грубовато сказал он мне, благословляя), и епископ Бельский Серафим<sup>xlix</sup>.

Был Рачинский и Булгаков.

Открыл заседание П.Б. Мансуров. Он сказал небольшую речь о значении Леонтьева как борца за чистую, вневременную идею православия, рассказав о его прямой защите вселенского патриарха в деле Греко-Болгарской церковной распри. Затем прочел я свой доклад. О. Иосиф не собирался говорить, я это знал, но вдруг он попросил слова. Он говорил очень тихо, но сразу же всех захватил, внутренне приблизил к Леонтьеву, ввел в самые христианские недра его многосложной и страдающей души. Как это он сделал? Это – тайна любви и веры – и нечего пытаться раскрывать ее. Перед нами была краткая – очень краткая – повесть о великой душе, ищущей мира и правды о Христе, ищущей в буре собственного душевного смятения, умственного метания, вселенских

великих предчувствий, и нашедшей его, этот мир и правду о Христе, в стенах монастыря; краткость этой повести – была ее сила: стало понятно – в свете этой повествующей любви – как общий нам всем христианский путь понуждения о Христе привел к тому, что К.Н. Леонтьев стал монахом Климентом. В голосе о. Иосифа было глубокое волнение. Я никогда не слышал, чтоб он так говорил. Это была не речь, – это была какая-то христианская памятка о брате нашем, отошедшем от нас и нами вспоминаемом во благих его. Он и закончил свое слово не так, как обычно заканчивают слова речи:

– Леонтьеву ничего, ничего больше не нужно от нас, кроме молитвы. Еслиб он сам мог говорить, он просил бы от всех только молитв. Я и прошу всех, кто хочет помолиться о упокоении души инока Климента, прийти завтра, в мой храм, где мы помолимся о нем за обедней и панихидой.

В заседании не предполагалось ни панихиды, ни литии по Леонтьеву. Но после слова о. Иосифа нельзя было не молиться. Он звал к молитве завтрашнего дня, но хотелось молиться и сейчас, тут же: ведь молитва, одна только молитва, и есть истинное воспоминание о христианине. Молитва – память.

Владыка Арсений молча встал и, обратившись к иконам, начал краткую литию о приснопамятном иноке Клименте. Первый ответил – на его возгласы – владыка Димитрий: он запел за псаломщика. И все стали петь. Эта молитва – внезапная, общая, тихая, изшедшая явно от тихих и простых слов о. Иосифа, – мое лучшее воспоминание – я не знаю, о ком: об отце ли Иосифе, или о Леонтьеве – вернее, о них вместе. Но этим не кончилось это примечательное заседание, пошедшее, благодаря о. Иосифу, не по повестке. Старший из епископов, владыка Димитрий, внезапно приподнялся и сказал:

– Я должен покаяться: я мало читал Леонтьева, почти вовсе не знаком с ним, но его «Письма с Афона»<sup>1</sup> произвели на меня такое впечатление, что я считаю их лучшим, в светской литературе, изображением монашества и монастыря. Теперь же я чувствую, еслиб все мы больше знали Леонтьева, какая была бы это великая польза для нас и Церкви!

Он закончил призывом – покаяться, подобно ему, в незнании великого христианского писателя, и внимательно и подробно узнать его творения.

Владыка Серафим – «оптинец» – тут же подошел к о. Иосифу и сказал, что приедет служить завтра панихиду.

Мы с о. Иосифом были счастливы: лучшего памятования об Леонтьеве мы и ожидать не могли.

На другой день была им отслужена заупокойная обедня, при почти пустой церкви. Были Рачинский, Булгаков, Мансуров. К середине обедни приехал еп. Серафим и служил по окончании ее панихиду с о. Иосифом по «приснопамятному иноке Клименте». Он сказал, перед панихидой слово, посвященное воспоминаниям об Оптиной пустыни и благодарности поминаемому за многие полезные воздействия и мысли. После службы мы пили чай у о. Иосифа.

В «Соловьевском» заседании, бывшем на другой день, все вышло иначе<sup>li</sup>.

Прежде всего, несмотря на все мои старания, мы не могли добиться от градоначальства разрешения на публичное заседание. Почему-то дело бесконечно тянулось, чиновники утверждали, что нужно навести какие-то справки не то в консистории, не то у митрополита, – а время шло, подходил день заседание, нужно было печатать афиши, билеты. Наконец, осталось дня три до срока: разрешения все не было, пришлось ограничиться обыкновенным закрытым заседанием у Морозовой, но без прений.

Рачинский открыл заседание краткой вступительной речью. «Почтили память» Леонтьева вставанием. Я представил себе, как возненавидел бы это «вставание» на юбилеях и поминках сам Леонтьев: достаточно вспомнить его статью о юбилее Фета<sup>iii</sup>. Слово было дано о. Иосифу. Его доклад был крайне интересен, как-то особенно рельефен и сжат. Содержание же его для слушавших было совершенно ново. После о. Иосифа говорил я, – вернее сказать: я передал свое слово Леонтьеву: говорил он отрывками из своих писем, целыми страницами своих мыслей, предведений, почти пророчеств. Все это было густое «леонтьевское», – настоящий стусок Леонтьевской пахучей мысли. Все это было, конечно, не по тогдашнему настроению русского общества, – в том числе и «Соловьевского».

Мой доклад явно провалился<sup>iiii</sup>. Хмурился кн. Трубецкой, явно был недоволен Рачинский, молчал Булгаков. Рачинский даже не выдержал и в перерыве сказал мне, рассердясь:

– Это вы оттого так написали, что знали, что не будет прений.

Даже благодушный Н.Н. Прейс<sup>liv</sup> выразил, через день или два, мне свое неодобрение.

Один о. Иосиф по прежнему одобрял все.

Теперь я знаю, что случилось: бранить Леонтьева на торжественном заседании, посвященном Леонтьеву, было неловко и неудобно, и потому бранили и ворчали на Дурылина, который прочел, однако, несколько страниц, только скрепленных им в одно целое, простых выписок из никому во всем зале, – кроме о. Иосифа, А.А. Александрова<sup>lv</sup> и меня, – неизвестных писем Леонтьева: никакого самостоятельного доклада Дурылина вовсе не было. Леонтьев и на этот раз оказался не приемлем для русского общества. Оказалось, что рано еще его и чествовать.

После меня читал С.Н. Булгаков<sup>lvi</sup>.

При разъезде к о. Иосифу подошел Андрей Белый и выразил ему свой восторг от его доклада. Он разделил свой восторг со многими в этот вечер. Помню, как восхищался им П.Б. Мансуров.

Вскоре после заседание, я был у о. Иосифа. Он позвал меня в кабинет и подал мне маленькую книжечку:

– Это Вам от меня.

Это были его юношеские статьи, без подписи. Он написал на книжке (по памяти): «Дорогому С.Н. Д<урыли>ну мои юношеские мечты о будущем России. В благодарность за Леонтьева».

Прошло полтора года.



Я писал работу на тему «Апокалипсис и Россия». Половина ее должна была быть посвящена никому неведомой апокалиптике К.Н. Леонтьева. Я был убежден, что основным пафосом Леонтьевской мысли был – ужас конца. Вся его, т.н. «реакция», все его «охранительство» – отсюда: из желания задержать, остановить усиливающее падение основ обще-человеческой, государственной и общественной прочности – религии, строгой семьи, строгой власти, сурового воззрения на человеческую природу, потому что ослабление и падение всего этого – устоев человечества – и есть величайший признак того, что всемирная история идет к концу и конец этот близок. Переживая то, что переживалось весной 1918 г., я особенно живо чувствовал, как прав Леонтьев в своей апокалиптике и до чего эти ощущения и мысли ему свойственны и у него первместны! Но я не решался писать об этом, не узнав, что думает об этом о. Иосиф.

Я пошел к нему. Обедали. После обеда мы остались вдвоем, и я задал ему основной свой вопрос:

– Думаете-ли вы, что основой основ Леонтьева, причиной всего его отрицания основа прогресса, современного уклона культуры и т.д. было чувство апокалиптики?

– Да, думаю и думал.

О. Иосиф был особенно задумчив и молчалив.

– Еще: верил-ли в конце жизни Леонтьев, в глубине глубин своих, что все может быть иначе, что Россия уклонится от общей воли к концу и даст миру новое и невиданное?

– Нет. Он за четверть века до Соловьева знал, что Европа и Россия погибнут под ударами монголов. Он только успокаивал, к концу жизни, свою тревогу, свою боль за Россию, когда писал о некоторых своих надеждах. С началом царствования имп. Александра III они у него еще были, но они исчезли. Он разуверился во всем, кроме церкви. Ничему бы, что совершается теперь, он не удивился. Так должно было быть. Он знал, что конец идет.

О. Иосиф замолчал. Были сумерки. Мы сидели молча. За окном отвратительно взвизгивали и шипели автомобили. Мне надо было идти. Я молча подошел под благословение к о. Иосифу. Уходя, я знал, что то, что говорил он о надеждах и разуверении Леонтьева, было сказано и об его собственных надеждах и разуверениях. Он был печален и сумрачен как никогда.

Я тяжело заболел и лежал в больнице<sup>lvii</sup>. «Апокалипсис и Россия» был написан лишь на треть. Я порывался скорее дописать его и читать его в Соловьевском обществе. О. Иосиф навестил меня в больнице. Как только я вышел из нее, я принялся за работу. Еще слабым, в первое воскресенье после пасхи я читал его в закрытом заседании<sup>lviii</sup>. Мне резко возражали Трубецкой и Лопатин, возражал и Булгаков<sup>lix</sup> – и все почти исключительно на ту часть доклада, которая была посвящена Леонтьеву, – и опять, возражали здесь, главным образом, не мне, а самому Леонтьеву. Я не мог взять на себя смелость отвечать за него, и ограничился небольшим словом после всех моих

оппонентов. Перед прениями о. Иосиф подошел ко мне и горячо благодарил. Он был оживлен и во всем соглашался со мной. После прений, он вновь подошел ко мне и сказал, что хотел просить слова возражать моим оппонентам, но очень волновался и подумал: – «Ну, что! все равно!» – и не попросил. Он был того мнения, что опять Леонтьевская мысль оказалась неприемлемой; ему было тяжело слушать, что говорили Трубецкой и Лопатин; даже Булгаков, утверждавший, что у Леонтьева не было никакой апокалиптики с ее жутью и томлением, не мог понять самого главного, самого страшного в Леонтьеве. Какая-то цепь непонимания в течение десятилетий и нет сил ее разорвать.

О. Иосиф верил, что в судьбе Леонтьева – все роковое: неизвестность, непонимаемость, отчуждение, самый перерыв посмертного издания, редактируемого о. Иосифом, самые заседания, в роде только что бывшего...

На его отзывы о моем докладе я мог ответить ему только одним: я посвятил его отцу Иосифу.

В июле я получил от Г.А. Лемана согласие на издание под моей редакцией «Московского Сборника»<sup>lx</sup>, посвященного материалам по истории русской религиозной культуры. Я спешил поделиться радостью с о. Иосифом.

– Пол-сборника Леонтьеву, – говорил я ему. – Остальное место: Гоголь, Киреевский, Достоевский.

– Было бы цельнее, если бы без Гоголя. Леонтьев не любил ничего «Гоголевского»<sup>lxi</sup>.

Мы много обсуждали с ним план сборника. Он сразу же решил дать в него законченные воспоминания Леонтьева «Моя литературная судьба»<sup>lxii</sup>; но мне хотелось бóльшего: я мечтал, чтобы сам о. Иосиф написал для сборника свои воспоминания о Леонтьеве. Я стал убеждать его не откладывать этого дела и, уезжая из Москвы на дачку, писать там. У него была начата и другая работа – по приходскому вопросу. Всякий раз, как я видел о. Иосифа, я спрашивал «а Леонтьев?»

– Думал поработать много и не выбрался из Москвы до праздников. Августовские праздники окончатся – тогда засяду писать. Все искал форму для воспоминаний. Теперь нашел форму: пишу, как письмо Вам.

В сентябре мы виделись с о. Иосифом в Посаде, у Флоренского. Мы втроем долго и оживленно говорили о Леонтьеве. О. Иосифа уложили на софу и беседовали. Тут впервые он открыл мне, от кого происходил Леонтьев. Помню, все трое сошлись мы на мысли, что в своем даре понимания Востока, в своем искусстве – он больше всего напоминает Пушкина: та же сила, прекрасная ясность, та же любовь к солнцу и к жизни. Солнечное творчество.

18-го сентября я должен был внезапно уехать из Москвы. Об этом я узнал на квартире о. Иосифа.

– Вам надо поехать в Оптину пустынь, – первый подал он мне мысль.

Прощаясь с ним в сумерки, я подошел под благословение. Он благословил меня. Обоим нам что-то не говорилось. Я взглянул на него. Он показался мне особенно худым, бледным и печальным.

– Храни Вас Бог, – сказал он мне.

Больше я не видел его.

По приезде из Оптиной, сидя в одной церковной семье, я услышал:

– Сколько народу умерло без Вас. Вот о. Иосиф Фудель<sup>lxiii</sup>.

В Новодевичьем монастыре есть уголок. Там лежало уже двое из немногих работников православной религиозно-философской мысли: Эрн и Кожевников.

О. Иосиф присоединился к ним третий.

## XI.

На одном из церковно-общественных собраний бурной весны 17-го года, где было много мирян и белого духовенства, шли споры о том, что делает и что может делать духовенство в современной борьбе и каково оно: каковы его силы, достоинства и немощи. Спорили – и разноречили. Помню, встал один зажиточный мужик, что-то вроде подрядчика, кажется, церковный староста в уезде, и сказал:

– А для нас дело ясно: мы всех священников так зовем: один у нас – отец Николай, а другой – Николай Иваныч. А по званию и честь: одно – отцу Николаю, а другое – Николаю Иванычу.

Смысл умного мужицкого слова был ясен: в одном видят пастыря, священнослужителя, строителя Таин Божиих, всей своей жизнью и личностью осуществляющего свое высокое призвание, – и его уважают, его чтут, его зовут «отцом Николаем», в другом видят попа, человека, поющего, служащего, венчающего и отпевающего по профессии, и относящегося ко всему этому, как к профессиональному занятию, т.е. ищущего хорошей платы за все это, – и его не уважают, не чтут, зовут, как и всех по имени, по отчеству: «Николай Иваныч». «Отец Николай» – это выделяет из всех, изъекает из обыденного, ставит в высокое, особое положение, не в ряду всех, над всеми: по имени, по отчеству зовомых – тысячи, так называют одного. А «Николай Иваныч» – имя как у всех; по жизни – имя, по имени – отношение как ко всем: у меня одно дело, у него – другое, я – Иван Иваныч, столяр, он – Николай Иваныч, поп: разница невелика – он моим образом жития живет, я и зову его так, как меня, по моему житию зовут.

Мне передавали, что Луначарский на одном из религиозных диспутов воскликнул:

– Попы нам – не опасны, нам опасны – священники.

На языке моего подрядчика это надо было перевести так:

– Николай-Иванычи нам не опасны, нам опасны – отцы Николаи.

Луначарский прав. И подрядчик тоже прав: Николай Иваныч есть только, – или почти только, – бытовое явление, определенный, историческими условиями и сословным укладом объясняемый, тип русского человека, – иногда хорошего, доброго и умного человека, не более: «Отец Николай» – есть церковная сила, есть работник великого вселенского дела, носитель мощи и мысли, переживающий всякие бытовые явления, уклады, строения жизни,

служитель истины, ширше́й всякой лжи человеческой. И потому опасаящимся этой силы и борющимся с этой истиной – опасен «Отец Николай» и нисколько не опасен сословный бытовой «Николай Иванович».

Когда я думаю об отце Иосифе, я ясно и твердо знаю, что он ни для кого не был – «Осип Иванович», а для всех – «Отец Иосиф».

Его никто не называл «Иосиф Иванович», никто и никогда. А между тем, в нашей интеллигентской среде – постоянно, как правило, принято звать священников по имени и отчеству. И те самые люди, которые других священников и протоиереев именовали по имени и отчеству, покойного всегда звали «отец Иосиф». Не могу себе представить: как можно было бы называть его иначе: это так не шло бы ко всему его, не говоря о внутреннем, даже внешнему облику, это так явно не было бы его именем. И больше того: редко-редко кто из соприкасавшихся с покойным здоровался с ним так, просто, за руку. Этого почти не бывало: почти все подходили под благословение, и встречаясь и разставаясь с о. Иосифом. И казалось: сама рука его поднималась всегда для благословения, а не для пожатия. И когда просто пожимали эту руку при встрече, мне всегда представлялось: пожимают благословляющую руку, ломают ее благословение, – что-то недолжное и ложное. И когда читаешь на конвертах писем Леонтьева, адресованных стариком молодому, только что посвященному священнику: «Всечестному отцу...», то ясно мне кажется, что иначе и нельзя было обратиться к отцу Иосифу: он всегда был – «всечестный отец Иосиф».

Дальше и глубже вникаю в его облик.

Священник вне храма, вне алтаря, в обществе – у нас такой же член общества. Над ним – остроумно, а часто и не остроумно – подшутят. Подтрунят над какой-нибудь его слабостью, но весьма довольны, что эта слабость есть: она очень удобна для общества. Он – как и все: сядет сыграть партию в преферанс, просидит вечер за винтом, покурит со всеми мужчинами у хозяина в кабинете, посмеется веселому анекдоту... Обычно, все его отличие от окружающего его общества – только его ряса (длинные волосы и у мирских встречаются), – которой он иногда заметно тяготится. Правда, он не может пойти в театр, но всюду – где бывает общество, он вхож: на выставку картин, на симфонические концерты, на митинги и собрания... Он – как все: никакой инаковости, ничего необычайного. Он не исключен почти не из чего мирского, или почти не из чего: конечно, он не станет танцевать (хоть в провинции, на свадьбах, и это, говорят, бывало), но, при случае сказать: «превратись поросё – в карася» и покушать этого «карася», превращенного из «поросё», т.е. попросту оскоромиться, покурить, спеть светскую веселую песню, ночь просидеть за картами, рассказать не совсем удобопечатный анекдот про архиерея – какая ж в этом беда? или более даже решительно: «какой в этом грех? священник ведь не схимник».

И в обществе любят таких «покладистых» батюшек. «У нас батюшка простой. Душа человек. От компании не отстаёт» – расскажут про такого священника и прибавят: «И служит хорошо». Это иногда так и бывает:

действительно, и служили хорошо. И тогда, кажется, все уже хорошо. А если кто скажет, что лучше бы, если бы батюшка не курил, и напомним, что такой великий пастырь, как отец Иоанн Кронштадтский, считал, что священник, берущий в свои руки карты, не достоин держать Св. Чашу, – то такому ревнителю строгости возразят: «Что Вы хотите! Священник – не монах. Довольно и того, что он служит исправно». И опять повторяют: «У нас батюшка хорош». Готовишься с этим согласиться. Но как же быть, если вспомнятся вдруг слова Св. Игнатия Богоносца и захочешь искренно им последовать: «Повинуйтесь также и пресвитерству, как апостолам Иисуса Христа. – Все почитайте пресвитеров, как собрание Божие, как сонм апостолов...»<sup>3</sup>. «Собрание Божие» – с картами в руках, с папиросами во рту, с добродушной шуткой, с веселым анекдотом. Совместить это нет возможности, и отсюда два выхода – один в толстовство, в сектантство, в голое и грубое отрицание: долой таких апостолов, ибо они не «апостолы», никаких попов! Другой – в бытовую, веками русской жизни образованную терпимость: терпим в жизни, в обществе, в быту – и папироски, и анекдот про архіерея, и «карася в поросья», и любовь к выигрышным билетам, и «десять рублей, не меньше, за свадьбу», и преферанс по маленькой, все – терпим, – и должны терпеть, ибо нам нужно – чтобы были крестины, было говенье, была служба на Пасху, был крестный ход на воду, было кому спеть «Дева днесь», было кому проводить в могилу. Без этого жить не можем, не хотим, не смеем, – и ради того, чтоб это было, готовы все претерпеть и все простить (папироску, заплатить десять рублей за крестины, помочь купить новые выигрышные билеты, выслушать анекдот про архіерея). Но, терпя, а часто, по немощи человеческой даже радуясь: «какой у нас батюшка простой: как мы все равно», – мы в душе своей лелеем найти совсем другого батюшку, без анекдота, без выигрышного билета, без преферанса, ищем «отца Николая», а не «Николая Ивановича», и тогда мы тянемся к отцу Иоанну Кронштадтскому, к о. Егору Чекрякскому, о. Валентину Амфитеатрову<sup>lxiv</sup>. Они – только вершины такого пресвитерства, только всем видимые его вехи, – но, слава Богу, есть еще «отцы Николаи» в русской жизни. Их мало, но они есть. С ними не засмеешься, от них не услышишь анекдота, у них не попросить раскурить папироску. Они не только в храме, у алтаря «отцы Николаи»: они в жизни, в быту, в повседневности: «отцы Николаи», они всегда и всюду «отцы Николаи».

Таков и был отец Иосиф.

Он был всегда, в каждый час своей жизни, на каждом шагу своего житейского пути – только и всецело о т е ц И о с и ф.

Это не значит, чтобы он подчеркивал, чем-нибудь внешне нарочито проводил линию своего отделения от общества, в котором жил. У него были общие со многими идеи, мысли, сочувствия, интересы. Он готов был улыбнуться на одно, опечалиться другим, вознегодовать на третье. Но как бы ни был он близок нам в общем интересе, деле, суждении, всегда чувствовалось,

---

<sup>3</sup> Послание к Траллийцам, гл. II и III. Писания мужей апостол. Перев. П. Преображенского. СПб., 1895 г., стр. 286.

что он – не мы: что он – прежде всего, всегда и неизменно – служитель алтаря, отец Иосиф, – а мы – Николаи Ивановичи и Петры Петровичи, только изредка и недостойно приступающие к воротам этого алтаря.

В нем не было ни величавой пышности какого-нибудь древнего протопопа, отделявшей его от мирских, ни подчеркнутой строгости в обхождении и речи, – ничто внешнее не отделяло его от нас: а в то же время, чувствовалось, что он – другой, что меж нами и им – всегда есть расстояние, и это было прекрасно: это расстояние – священно, оно благодатно, оно должно быть, и горе, когда его нет. И оттого, здороваясь, мы шли под его благословение, и оттого в голову не приходило назвать его иначе, чем «отец Иосиф».

И было величайшее счастье видеть перед собой іерея, служителя Божия, – без всякого налета бытовой и сословной пыли и грязцы. Пусть эта «пыль веков», прилипшая к русскому батюшке, эта родная грязца сословная, бытовая, историческая, иногда, по своему, бывает почти что и мила, и чуть-ли не дорога даже, ибо от нее веет духом русской истории, русского древнего приходского уклада, русской соборной поповки, чуть-ли не духом еще славяно-греко-латинской академии, пусть даже иногда исполнены великого юмора эти из поколения в поколения переходящие анекдоты про архіереев, рассказываемые чуть ли не на бурсацком латинском языке, пусть так много еще во всем этом поповском быте русской сословной пахучести и красочности, добродушия и жизненности, – все же это все налипло, припылилось, приклеилось к ризам священным, которые должны сиять ослепительной, ничем не помрачаемой чистотой и светлотой, и нас учить этой чистоте и сиянию. Много добродушия и ласки в русском добром батюшке, много хорошего и даже и в том, кого грубовато назовут по-просту «попом», – но хочется найти и священника, а не только попа, хочется іерея, а не только батюшку.

И то, что в о. Иосифе не было вовсе ничего от сословной ленцы и грязцы, то, что никакими бытовыми красками не было испещрено его священство, – то, что это был всегда, не только в храме, но и в жизни, – не поп, не «наш добрый батюшка», – а истинный іерей Божий, – это радовало и утешало несказанно. Его священническая риза воистину была чиста, бела и светла – и «пыль земли»<sup>lxv</sup>, вопреки слову поэта, на ней не «легла».

Бог не сподобил меня видеть отца Иосифа лежащим в гробу – с крестом и евангелием в руках, но я видел у него и живущего, всегда те же крест и евангелие в руках. Казалось, он не расставался с ними, – и, незримые, они всегда были с ним, – и оттого-то всегда было расстояние между нами и им, и оттого-то всегда оставался он для нас, как в церкви, – отцом Иосифом, іереем Божиим.

\*\*\*

Вечером 10 января 1919 г. я читал в рукописи письма Леонтьева к о. Иосифу. Лег спать в одиннадцать часов. Я проснулся в 3 часа ночи. В Лавре звонили к утрени. Я проснулся ото сна: я видел отца Иосифа. Я видел его в

церкви, где он служил последние годы. Стояло много народа. И как-то тут-же, с нами, был и он, отец Иосиф. Все мы знаем, что он умер, и все таки не удивляемся, что он тут же, с нами. Умер – и не умер. Считаем в мертвых – и не удивляемся, что он – жив. И он говорит, т.е. не говорит, а от него исходит это, и мы слышим это, как его слова: «Надо мне всматриваться в лица». А стоят в церкви – его семья, его друзья, его близкие, его прихожане. Он ходит меж нами – и смотрит и взглядывается пристально в наши лица. И опять от него идут слова, но мы слышим: «Если лица светлы у вас здесь, то мне светло будет там». И он будто читает в нас, стоящих в его церкви, читает в лицах наших, – что в них написано про него, светлый-ли приговор ему начертан в лицах его детей, его друзей, его паствы. Высветлились-ли наши лица, когда он жил с нами? – и оттого: дастся-ли ему свет там? И ясно, и ясно всем нам, и ему: приговор его светел и хорош, и сам но – легкий и светлый, и уходит в свет.

Тут я проснулся под ночной звон лаврского колокола.

Сергиев Посад.

1919 г.

13-22 января с<тарого> с<тиля>. КОНЕЦ И БОГУ СЛАВА

С. Раевский (Дурылин)

<Проповедь на панихиде по отцу Иосифу Фуделю><sup>lxvi</sup>

†

И мир преходит, и похоть его: а творяй волю Божию пребывает во веки. Дети, последняя година <есть>; и якоже слышасте яко антихрист грядет, и ныне антихристи мнози быша: от сего разумеваем яко последний час есть.

<1> Иоан., 2, 17, 18.

Не приснопамятному, в Бозе почившему, по истине уповаю и верую, блаженно упокоенному протоіерею Иосифу – нужно слово о нем, а нам уже 3 года, как лишенным его тихого слова, учительного, мудрого, простого, нужно слово о нем, хотя бы и немощное мыслью и скудное учительством, но движимое благодарной и благодарящей памятью о нем. Он ушел от нас, перешел в иные обители, когда особенно ясно открылась<sup>lxvii</sup> грозная правда слов Апостоловых: «мир преходит». Во-истину, «преходит мир», в коем мы жили, мыслили, действовали, который мыслили прочным и пребывающим, – «преходит» на наших глазах. Божья судьбина постигла нас бедами, напастями и внезапными прещениями тогда, когда, в глазах европейского человечества, особенно прочен казался образ мира сего, когда град, «зде пребывающий», ширился, укреплялся и деятельно устроился всеми приобретениями человеческого ума, всеми, на земное направленными, усилиями воли, всем

упорством и обильною сложностью сил человеческих. В этом многокипучем, широкосложном мире человеческого действия, который именуется гражданственностью и общественностью, человек мнил себя свободным действователем и мыслил, подобно евангельскому богачу: «разорю житницы моя и большия воздвигну», – только не для хлеба одного, а всего богатства вещей, предметов, дел и творений человеческих, именуемых продуктами культуры, науки и искусства. В этом мире действия над устройством «града, zde пребывающего» исчезало самое памятование о «граде взыскуемом», о небесном Иерусалиме.

По безумию современного мудрования уже самая мысль эта – о «граде взыскуемом», мешала бы строительству «града zde пребывающего», – и потому мир, [современный], памятный на исчисление успехов своего строительства, изнес вон из себя самую мысль о граде, строитель коего Бог во славе своей.

Не погрешу, если буду утверждать, что верный трудник Христов, приснопамятный протоіерей Іосиф, основною целью своей работы [церковной], общественной и мыслительной полагал утверждение Града Взыскуемого – в планах [и работах] строительства града zde сущего. Он хотел видеть свою родную страну памятующей и исполняющей заповедь Божию: «без мене не можете творить ничесоже». Он видел великие задачи, стоящие пред русским народом – государственные, церковно-общественные, культурно-исторические, – но хотел пламенно, чтобы, приступая к их решению и в самом труде решения их родной народ памятовал: «Без мене не можете творити ничесоже»<sup>lxviii</sup>, – и творил он свою историю, свою государственность и общественность «с Ним», все сотворившим «премудростию» своею и своею творческою премудростью восполняющим природную немощь делания человеческого.

В это воззрение почивший вложил всю свою мысль, в этом воззрении он близок с немногими приснопамятными действователями русской мысли и веры, – и был далек от огромного большинства русского общества. Его уделом было [постоянное] мыслительное одиночество. К чему – думалось большинству – молитва и ее тихий голос, когда шумно и споро идет строительство града zde пребывающего? [Она ему не нужна и не слышна она в нем, в шуме строительства]. К чему храм и его купол и своды, когда высоко вздымаются купола парламентов, лабораторий, университетов, вокзалов, [театров]? К чему эта строгая и требовательная мысль о Боге, – творце, [создателе], когда так плодотворна мысль о человеке, творящем из явного обилия природы? К чему Бог, когда есть в мире человек?

Строительство жизни без Бога есть строительство на песке; но это видно лишь взору верующему, [для неверующего это строение представляется строением на гранитном фундаменте], и видеть эту стройку на песке, поглощающую силы народа, отуманивающую его мысль и волю, есть великое испытание и страдание для человека верующего. Отцу Іосифу было определено испытать это страдание. Он вынес его мужественно и мудро. «Преходит образ мира сего»<sup>lxix</sup> – [преходит и образ части сего мира] – образ



России, – он знал это еще тогда, когда немногие были склонны были верить, что это вообще когда-нибудь будет. «Преходят» и наши надежды на должное строительство мира сего, преходит наша вера в правоту мысли и воли своего народа, преходит наше упование на его будущее, преходит самая наша мысль об этом будущем. Он еще с юности встретил на своем пути двух людей, которые научили его мудрому спокойствию ведения, что «мир преходит». Один из них был – праведник, другой – с тоской вопиющий – «научи мя оправданием твоим». «Если в России, ради презрения заповедей Божиих и ради других причин, оскудеет благочестие, тогда уже неминуемо должно последовать конечное исполнение того, что сказано в конце Библии, т.е. в Апокалипсисе». Так учил приснопамятный старец оптинский Амвросий<sup>lxx</sup>. «Немного человечеству остается, мне кажется. Дерево познания иссушает мало-помалу дерево жизни. И церковь говорит, конец приближается, когда евангелие будет проповедано всем»<sup>lxxi</sup>. Так мыслил великий друг покойного, монах Климент – К.Н. Леонтьев, – и дополнял свою мысль: «Человек истинно верующий не должен колебаться в выборе между верой и отчизной. Вера должна взять верх... Всякое государство есть явление преходящее, а душа моя и душа ближнего вечны и Церковь тоже вечна»<sup>lxxii</sup>. «Преходил» мир – и ясны духовный облик о. Иосифа. Град, где пребывающий, разрушался – но тем яснее становились нерушимые стены града взыскуемого.

«Твори же волю Божию пребывает во веки». Творить же волю Божию может лишь смиренный. Он, один он, знает всю неизмеримую правду слов: «Без мене не можете творить ничесоже», и Бога почитает он Творцом и собственной своей жизни, и Господу вверяет он себя. Правда человека в правде Божией – и смиренно вопиет человек: «Научи мя оправданием Твоим».

Здесь, в этом храме, спросил я [однажды] покойного предстоятеля этого храма: «Какое главное наблюдение вынесли вы из вашего долгого служения тюремным священником?» Я ожидал наблюдений об отверженных, а услышал [из уст о. Иосифа] наблюдение о себе самом. «Когда я думаю о тюрьме и заключенных, я спрашиваю себя: [почему я не с ними], почему я на свободе, а они в тюрьме?» Прочное смирение было в этом ответе, – сознание полнейшего своего недостойнства было в самом голосе, которым произнес это о. Иосиф, нищета духовная сквозила в этой мысли о себе: я худший из всех, я отверженный из отверженных, – почему же я не с ними? не делю их доли? И что мне остается просить у Тебя, Господи, как не одного: «научи мя оправданием Твоим»?

Думать так, значит повергать пред Господом нищету свою – «творить волю Божию», ибо этому прежде всего заповедал Господь научиться от Него: «научитесь от меня, яко кроток и смирен сердцем».

Сотворивый волю Божию «пребывает во веки». Пусть, «мир преходит» – он пребывает в ином мире, непреходящем.

Пусть преходит все, что есть в мире, – он не от мира, и избавлен от того, что «преходит».

<sup>i</sup> **«Грифцову на его докладе ~ памяти Вл. Соловьева».** – Грифцов Борис Александрович (1885–1950) – критик, литературовед, переводчик Бальзака, Флобера, Пруста. Автор книги: «Три мыслителя. В. Розанов, Д. Мережковский, Л. Шестов» (М., 1911). В.В. Розанов так отозвался на нее в письме к автору: «Взял у дочурки “Три мыслителя” (утащила, и я думал – пропала): и захотелось сказать Вам 2 слова. Спасибо Вам бесценное за внимание – Вам, именно сознающему свою (Вашу) одинокость и неприютность в мире, и труд и его ясность, и вечное “денег нет”, “денег не хватает” – от *такого* же по одиночеству, а долгие годы (1893-99) прожившего прямо в *ужасе* от “денег нет”. И больше ничего. Просто захотелось сказать 2 слова, обнять и заочно поцеловать. В. Розанов» (*В. Розанов. Письма Б. Грифцову. Публикации и комментарии Евгения Барабанова // Наше наследие. 1989. № 6. С. 60-61*). Еще в мае 1911 г. Б.А. Грифцовым была написана статья о прозе К.Н. Леонтьева, которая предполагалась для сборника «Памяти Константина Николаевича Леонтьева. Литературный сборник» (СПб., 1911) (*Там же. С. 60*). Заседание состоялось 4 ноября 1912 года. Доклад под названием «Судьба К. Леонтьева» опубликован в: *Русская мысль. 1913. № 1, 2, 4. Переиздан: К.Н. Леонтьев. Pro et contra. Книга 1. СПб., 1995. См.: Лавров А.В. Грифцов Борис Александрович // Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. Т. 2. Г-К. М., 1992. С. 45-46.*

<sup>ii</sup> **«своей книгой «Отец Климент Зедергольм».** – *Леонтьев К.Н. Отец Климент (Зедергольм), иеромонах Оптиной Пустыни // Русский вестник. 1879. XI-XII. Три отдельных издания: 1880, 1882, 1908. Переиздано: Леонтьев К.Н. Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. СПб., 2003. Т. 6 (1).*

<sup>iii</sup> **«моего старца, его ученика и духовного наследника».** – речь идет о преп. Анатолии Оптинском младшем (1855–1922).

<sup>iv</sup> **«русский Ницше».** – к моменту написания воспоминаний С.Н. Дурылина мотив прозвучал у Вл. Соловьева, Н.А. Бердяева, В.В. Розанова, С.Л. Франка. См.: *Соловьев Вл. Статья для Энциклопедического словаря Брокгауза-Ефрона; Бердяев Н.А. К. Леонтьев – философ реакционной романтики // Вопросы жизни. 1904. № 7 (переиздано в сб.: Sub specie aeternitatis. СПб., 1907); Из переписки К.Н. Леонтьева. Предисл. и примеч. В.В. Розанова // Русский вестник. 1903; Франк С.Л. Мирозерцание Константина Леонтьева // Критическое обозрение. 1909. Кн. VII. После революции см.: Франк С.Л. Константин Леонтьев, русский Ницше // Hochland. 1928/1929. № 6 (обе переизданы: Франк С.Л. Русское мировоззрение. СПб.: «Наука», 1996). О «нищезанстве» К.Н. Леонтьева см.: Козырев А.П. Примечания // К.Н. Леонтьев: pro et contra. Антология. Книга 1. СПб., 1995. С. 459. См. также: Куклярский Ф.Ф. К. Леонтьев и Фр. Ницше как предатели человека // К.Н. Леонтьев: pro et contra. Антология. Книга 1. СПб., 1995 (впервые появилась в его книге «Осужденный мир (Философия человека и природы)» в 1912 г.). О.Л. Фетисенко установила, что Леонтьев был знаком с работами Ницше, о чем есть заметка в дневнике леонтьевского ученика, И.Л. Леонтьева-Щеглова («Преимущество от отцов». Константин Леонтьев и Иосиф Фудель. Переписка. Статьи. Воспоминания. С. 686).*

<sup>v</sup> **«Алкивиад».** – С Алкивиадом К.Н. Леонтьева сравнивал В.В. Розанов: «Рассматривая по смерти этого монаха его библиотеку, я увидел толстый том с надписью “Alcibiade”, – французская монография о знаменитом афиняине. Такого воскрешения афинизма (употребляю необыкновенный термин), шумных “агора” афинян, страстной борьбы партий и чудного эллинского “на ты” к богам и к людям, – этого я никогда еще не видел ни у кого, как у Леонтьева, он был в точности как бы вернувшимся с азиатских берегов Алкивиадом, которого не догнали стрелы врагов, когда он выбежал из зажженного дома возлюбленной» (Из переписки К.Н. Леонтьева. Предисл. и примеч. В.В. Розанова // Русский вестник. 1903. Апрель. С. 636; В.В. Розанов. Литературные изгнанники. Н.Н. Страхов. К.Н. Леонтьев / Под ред. А.Н. Николюкина. М., 2001. С. 321). См.: *Розанов В.В. Эстетическое понимание истории // Розанов В.В. Эстетическое понимание истории. М.-СПб., 2009. С. 54.*

<sup>vi</sup> **«искать воли старца ~ отцу Амвросию».** – К.Н. Леонтьев гостил подолгу в Оптиной с 1875 г., а в 1887 г. поселился в ней постоянно, и находился под окормлением преп. Амвросия. Незадолго до смерти, 18 августа 1891 г. он был тайно пострижен в монашество с именем Климент. См.: *Леонтьев К.Н. Оптинский старец Амвросий (из письма к редактору “Гражданина”) // Леонтьев К.Н. Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. СПб., 2003. Т. 6 (1).*

<sup>vii</sup> **«к сионским высотам».** – А.С. Пушкин. Напрасно я бегу к сионским высотам (1836).

<sup>viii</sup> **«столь твердо воспринявшего призыв к Никодиму: “вторично родиться”».** – В.В. Розанов это «второе рождение» К.Н. Леонтьева оценивал диаметрально противоположно, комментируя в 1903 г. письма к нему К.Н. Леонтьева: «... эстетизм был *натурою* его, а в христианство он все-таки был только крещен; это – первозаконие и второзаконие. Тут – граница для известного афоризма, что “всякая душа человеческая – христианка”, “человек уже рождается христианином”. Нет этого, и не без причины Христос сказал: “Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух” и “нельзя войти в царство небесное, если не родиться (вторично) от Духа и Истины”» (*Розанов В.В. Литературные изгнанники. Н.Н. Страхов. К.Н. Леонтьев. С. 375*).

<sup>ix</sup> **«Н. В. У.».** – лицо установить не удалось, однако в тексте воспоминаний С.И. Фуделя содержится характерный для позднего о. И. Фуделя фрагмент, где он говорит о потере веры в свою страну: «Я верил, что русский народ – носитель православия. Было, может быть, и ушло...» (*Фудель С.И. Собр. соч.: В 3 т. М.: «Русский путь», 2001. С. 163*). Комментаторы мемуаров прот. Н.И. Балашов и

Л.И. Сараскина указывают, что это – «фрагмент главы 2 переписанных рукою С.И. Фуделя “Кусочков воспоминаний духовной дочери”. Рукопись хранится в Библиотеке-фонде “Русское Зарубежье”; подписана Н. В. У. Идентифицировать автора не удалось» (*Там же*. С. 560). Возможно, что это – один и тот же человек.

<sup>x</sup> *«свою приходскую церковь, св. Николы в Плотниках»*. – Церковь Николая Чудотворца, что в Плотниках (Арбат, 45), где был настоятелем о. Иосиф Фудель, была уничтожена в начале 1930-х гг.

<sup>xi</sup> *«тюремной церкви»*. – Отец Иосиф служил в церкви Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме (1892–1907). См.: *Фудель С.И.* Собр. соч.: В 3-х тт. М., 2001. Т. 1. С. 29-33.

<sup>xii</sup> *«Осенью 14-го внезапно заболела моя мать ~ тихо, мирно, как во сне»*. – Анастасия Васильевна Дурылина умерла 11 ноября 1914 г.

<sup>xiii</sup> *«на отпевании»*. – Отпевал А.В. Дурылину епископ Димитрий (Добросердов) (МА ДМД. КП-2057/1. Л. 26). Епископ Димитрий, до пострижения священник Иоанн Иоаннович Добросердов, был законоучителем у С.Н. Дурылина. В воспоминаниях «В родном углу» С.Н. Дурылин посвятил ему целую главу: «Я его знал законоучителем гимназии, знал архимандритом, Московским Синодальным Ризничим, знал епископом Можайским, викарием Московской Митрополии, встречал архиепископом Кавказским и Ставропольским – и должен сказать: он всюду оправдывал свою фамилию. Он обладал добрым сердцем, которое не утишило своего благодушного биения ни под рясой монаха, ни под архиерейской мантией» (МА ДМД. КП-265/53. Л. 3 об.-4). Помня замечательного пастыря, С.Н. Дурылин и попросил его отпеть мать. Он писал: «Глубокоочтимый Владыка! Как духовный сын Ваш и как человек, многим добрым обязанный Вам, обращаюсь к Вам со следующей просьбой: Вчера, в 9 час. вечера тихо скончалась мать моя, которую Вы знали и которая чтит Вас. Глубоким утешением было бы для меня, если бы Вы, Владыка, согласились принять участие в отпевании ее, имеющем быть в церкви св. Никиты мученика, что на Старой Басманной, в субботу 15-го ноября. Начало литургии в 9 часов утра. Не смею просить Вас, зная обремененность Вашу делами о том, чтобы вы совершили литургию, но об совершении отпевания прошу Вас, Владыка и Учитель, и жду от сего облегчения скорби моей и радости для души усопшей. Благоволите известить об ответе Вашем (Гороховская ул. д. 21, кв. 5), теперь же для того, чтобы предупредить причт и хор. Все расходы, сопряженные со служением Вашим, возьму немедленно. Жду Вашей помощи сей и молитв Ваших. Любящий и чтущий Вас Сергей Дурылин» (МА ДМД. КП- 612/5. Л. 1).

<sup>xiv</sup> *«Иисус Христово Рождество сице бе...»* – Евангелие от Матфея, зачало 2 (1:18-25), читается на утрене Рождества Христова.

<sup>xv</sup> *«новоявленную икону Божьей Матери “Державной”»*. – Икона Богоматерь «Державная» была явлена 2 марта 1917 г., в день отречения императора Николая II, в селе Коломенском под Москвой.

<sup>xvi</sup> *«Нина Иосифовна»*. – Фудель Нина Иосифовна († 1971), дочь прот. И.И. Фуделя.

<sup>xvii</sup> *«Часть моя большіяя, / От тленья убежав, / По смерти станет жить»* – Г.Р. Державин. Памятник (1795).

<sup>xviii</sup> *«турецкий игумен»*. – Так выразился о К.Н. Леонтьеве В.В. Розанов По его словам, Н.Н. Страхов и С.А. Рачинский «возмущались смесью эстетизма и христианства, монашества и “кудрей Алкивиада” и, главное, жестокости, суровости и, наконец, прямо жестокости в идеях Л<еонтьев>ва, смешанной с аристократическим вкусом к роскошной неге, к сладострастию даже. “Фу, черт – турецкий игумен!” – это удивление во мне, у них выразилось, как *негодование*, как *презрение*» (В.В. Розанов. Литературные изгнанники. С. 344). Само выражение взято, вероятно, из «Страшной мести» Н.В. Гоголя. «Турецким игуменом» назвал Данило Бурульбаш отца Катерины («Страшная месть»).

<sup>xix</sup> *«О, конечно, о. Иосиф не был К. Леонтьевым!»*. – С.И. Фудель писал, что для отца Иосифа леонтьевская «теория “замораживания форм” для удержания неумолимо исчезающей из них жизни есть “дорога в никуда”, и она была по природе чужда моему отцу. Ему было ясно, что спастись от умирания истории сохранением ее внешних живописных форм, этим “формализмом от отчаяния”, конечно, невозможно, Леонтьев силен только в своей негативности, и никакого здания на нем не построишь» (Фудель С.И. Собр. соч. в 3-х тт. 2001. Т. 1. С. 41-42).

<sup>xx</sup> *«mauvais genre»*. – дурной тон (*фр.*).

<sup>xxi</sup> *«И Гете, и Байрон ~ принять христианский характер»*. – Письмо К.Н. Леонтьева о. И. Фуделю от 2 мая 1890 г. («Преимство от отцов». Константин Леонтьев и Иосиф Фудель. Переписка. Статьи. Воспоминания. С. 201).

<sup>xxii</sup> *«Голубчик вы мой, отец Иосиф! Долго я воздерживался от прямой просьбы чтобы непременно этим летом ко мне приехали, но, наконец, решил это написать»*. – Леонтьев К.Н. Письмо о. Иосифу Фуделю. 1 мая 1890 г. // «Преимство от отцов»: Константин Леонтьев и Иосиф Фудель. С. 198.

<sup>xxiii</sup> *«Соловьев – “орел умом” ~ серьезную и открытую борьбу...»* – Письмо К.Н. Леонтьева о. И. Фуделю от 2 мая 1890 г. из Оптиной пустыни («Преимство от отцов». Константин Леонтьев и Иосиф Фудель. Переписка. Статьи. Воспоминания. С. 204). Цитируется с незначительными изменениями. См.

также письмо К.Н. Леонтьева В.М. Эберману от 1 мая 1890 г. из Оптиной пустыни (*Леонтьев Константин*. Избранные письма. СПб., 1993. С. 492).

<sup>xxiv</sup> **«Боже! – восклицает Леонтьев. – Как бы я хотел бы Вас, молодого, сделать моим умственным наследником! Из всех “ребят” моих<sup>xxiv</sup> я Вас считаю наиболее надежным».** – Письмо К.Н. Леонтьева о. И. Фуделю от 2 мая 1890 г. из Оптиной пустыни (Там же.). Цитируется с незначительными изменениями.

<sup>xxv</sup> **«“Леонтьевское” и “Соловьевское” ~ сознанием эпохи».** – Впервые противопоставление К.Н. Леонтьева Вл. Соловьеву неявно было высказано в докладе В.В. Бородаевского «О религиозной правде Константина Леонтьева» на заседании Петербургского РФО 28 февраля 1910 г. (опубликовано впервые А. П. Козыревым: *Бородаевский В.* О религиозной правде Константина Леонтьева // К.Н. Леонтьев: pro et contra. Антология. Книга 1. СПб., 1995; републиковано: *Бородаевский В.В.* О религиозной правде Константина Леонтьева // Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде). История в материалах и документах. М., Т. 2. 2009). Бородаевский, знавший Оптину и ее старцев, понимал и любил К.Н. Леонтьева, собираясь писать о нем книгу, которую однако так и не написал. Идея о «соловьевском» и «леонтьевском» началах в русской религиозной мысли впоследствии была развита С.Н. Дурылиным в докладе «Религиозный путь Константина Леонтьева», сделанном 2 февраля 1922 года в Вольной Академии духовной культуры (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 160, 161). Она была своеобразно воспринята и С.И. Фуделем, называвшим «леонтьевское» «апокалиптикой страха и неприязни», а «соловьевское», наследованное о. П. Флоренским, – «апокалиптикой радости и любви» (*Фудель С.И.* Собр. соч. В:3 т. М., 2001. Т. 1. С. 42).

<sup>xxvi</sup> **«оправданию добра».** – имеется в виду книга Вл. Соловьева «Оправдание добра» (1897).

<sup>xxvii</sup> **«петербургского Антония».** – Антоний (в миру Александр Васильевич Вадковский; 1846–1912) – митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский (1898–1912). Сотрудничал с богоискательски-настроенной интеллигенцией, благословил епископу Сергию (Страгородскому) председательствовать в Религиозно-философских собраниях. Был настроен реформистски, «принимал докладные записки “32-х” весьма положительно, поощряя авторов дальше работать над предложениями для будущего собора» (*Поспеловский Д.* Обновленчество. Переосмысление течения в свете архивных документов // Вестник РХД. 1993. № 168. С. 201). Имел репутацию либерала, обвинялся правыми в сотрудничестве с С.Ю. Витте, в сочувствии обновленчеству. Был в курсе семейной ситуации В.В. Розанова: «Мало-помалу (не от меня, а кажется через Рачинского) “наше положение” стало всем известно, Победоносцеву, митрополиту. И все меня любили, уважали. Но никто не раскрыл рта, чтобы были не “Николаевы” дети, а Розановы» (*Розанов В.В.* Письма Б.А. Грифцову // Наше наследие. 1989. № 6. С. 58). См.: *Фирсов С.* Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х–1918 гг.). СПб., 2002. С. 66-76; *Розанов В.В.* Митрополит Антоний в исторических заслугах // *Розанов В.В.* Признаки времени. Статьи и очерки 1912 г. Письма А.С. Суворина к В.В. Розанову. Письма В.В. Розанова к А.С. Суворину. М., 2006. С. 91-94; *Die Russischen Orthodoxen Bischöfe von 1893 bis 1965: Bio-Bibliographie von Metropoliten Manuil Lemesevsrij.* Erlangen, 1979. Т. 3. С. 43-44. (далее сокращено: Мануил (Лемешевский). Т. 1. С. 266-275; Записки петербургских Религиозно-философских собраний 1901–1903 гг. / Под ред. С.М. Половинкина. М., 2005.

<sup>xxviii</sup> **«учению о грехопадении ~ преобразению плоти».** – Тема критики софиологии, а вместе с ней и всего «соловьевского» направления – весьма частый дурылинский мотив. Критикуемых же здесь оригенистских мотивов был не чужд до определенного времени сам Дурылин (см. рассказ «Жалостник» 1915 года), однако позднее он стал.

<sup>xxix</sup> Квадратные скобки С.Н. Дурылина. Обрыв текста в автографе и машинописи.

<sup>xxx</sup> **«Церковь православная ~ “памяти смертной”».** – Тема «памяти смертной», появляющаяся у С.Н. Дурылина в середине 1910-х гг. (см. напр. «Церковь, монастырь и старчество в личности и жизни К. Леонтьева») была развита С.Н. Дурылиным в «В своем углу». Дурылин говорит, что память это, с одной стороны, бытие с Богом лично меня, мое «ангельское» «я», Ангел-Хранитель, а, с другой стороны, память – это Церковь, объединяющая «все святых, чиноначалия же безплотных», апостолов, мучеников, преподобных, живых и мертвых. «Память» у С.Н. Дурылина входит в структуру бытия, и эта мысль в разной форме встречается на страницах его статей, писем, прозы. «Если нет сил прощать, не надо и вспоминать. Всех надо простить в воспоминании: и это «простить» здесь будут значить – «понять», всех надо «простить», кроме себя самого» (*Дурылин С.Н.* В своем углу // МА ДМД. КП-265/1. Л. 3). Беспмятность, забывание приводит человека к саморазрушению: «Есть люди, не помнящие родства. Им легко жить. <...> Ни одной священной были в душе» (Там же // МА ДМД. КП-265/3. Л. 67). У Бога о нас вечная память, и нам необходимо помнить о нем. Если процесс движения к подлинному бытию остановится, прервется, а это вполне возможно при полном оскудении святых, молитвенников за человеческий род, то и мировое бытие начнет таять! От нашей памяти зависит и сохранение бытия, мы его непрерывно восстанавливаем, созидаем, вечно творим, мы за него отвечаем...» (МА ДМД. КП-265/11. Л. 4).

<sup>xxxi</sup> **«“смерть вторая”, смерть смертей – ад».** – Священное Писание различает два вида смерти: «смерть вторая» – это смерть духовная: «И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное» (Откр. 20:13–14). «Боязливых и

неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь о озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая» (Откр. 21:8).

<sup>xxxii</sup> *«ignoramus et ignorabimus»*. – «не знаем и не узнаем» (лат.). *Дюбуа-Реймон Э.Г.* О пределах познания природы: Лекция, читанная Эмилем Дю-Буа-Реймоном во втором публичном заседании 45 немецких естествоиспытателей и врачей 14 августа 1872 г. в Лейпциге / Пер. с нем. Могилев на Днестре, 1873. С. 24.

<sup>xxxiii</sup> *«Будет некогда день и погибнет священная Троя, / Древний погибнет Приам и народ копеносца Приама»*. – Илиада. Песнь 4.

<sup>xxxiv</sup> *«Тареевский призыв на борьбу с богословием св. отцов, как аскетическим»*. – Тареев Михаил Михайлович (1867–1934) – занимал в МДА кафедру нравственного богословия (1902–1918), редактор «Богословского вестника» (1917–1918). Главный труд – «Основы христианства», в нем «историческое христианство» противопоставляется внутреннему. Прот. Г. Флоровский о нем писал: «Христианство есть личный подвиг, а не исторический процесс <...> Весь смысл исторического процесса ведь только в том, чтобы в “ничтожество” или ограниченности плотской жизни просияла Божественная слава, явилась Божественная жизнь. О себе история бесцельна и лишена смысла... Для Тареева церковь есть “второстепенная” или “производная реальность в христианстве”, “историческая форма христианства”, “нравственная организация”, “благочестивое общество” <...> Существо же христианства в его интимности, “в религиозной абсолютности добра, в абсолютной ценности личности”» (Флоровский. С. 441-442). В книге «Христианская философия» (1917) Тареев поставил под вопрос святоотеческое учение, сводя его к греческому национальному типу мирозерцания. Критика Тареевым Флоренского: *Тареев М.М.* Новое богословие: [Вступительная лекция. Сентябрь, 1916 год] // Богословский вестник. 1917. № 6/7). О столкновении с М.М. Тареевым см. письмо о. П. Флоренского епископу Антонию (Флоренсову) от 6 сентября 1916 г.: «Проф. Тареев, по своим воззрениям и по всей своей академической должности, есть, как я понимаю дело, мыслитель глубоко антицерковный, враждебный вере и растлевающий юношей, имевших несчастье поддаться его воздействию. Он – человек неглупый, начитанный и сильный, кроме указанных свойств выделяется еще беззастенчивостью в своих действиях и небывалой в истории Академии высокой оценкой себя. Понятное дело, что при всем моем старании сдержаться, моя оценка проф. Тареева и в особенности его “абсолютного христианства”, проскальзывает в моих словах и, вероятно, передается ему его соглядатаями» («Я пишу Вам, как на исповеди...»). Переписка священника Павла Флоренского и епископа Антония (Флоренсова) / Сост. *Андроник (Трубочев), игумен* // Духовный собеседник. 2007. № 2 (50). С. 110). «С целью захвата руководства в МДА группировка проф. М.М. Тареева, рекламировавшая себя как либерально-демократическая (а на самом деле поправшая церковные и научные традиции и задачи Академии в угоду буржуазии), добилась проведения ревизии. Ее провел 13 марта 1917 г. командированный обер-прокурором Святейшего Синода проф. Б.В. Титлинов. 9–10 апреля 1917 г. в МДА прибыл сам обер-прокурор Синода В.Н. Львов. 1 мая 1917 г. ректор МДА епископ Феодор был уволен от должности и назначен управляющим, на правах настоятеля, Московским Даниловым монастырем. Временно исполняющим обязанности ректора был назначен инспектор Академии архимандрит Иларион (Троицкий). 4 мая Совет МДА избрал редактором “Богословского вестника” вместо священника Павла Флоренского, возглавлявшего журнал с 1912 г., проф М.М. Тареева» (*Андроник (Трубочев), игумен*. Священник Павел Флоренский – профессор Московской Духовной Академии // Богословские труды. Юбилейный сборник. М.: Издание Московской патриархии, 1986. С. 239). В.В. Розанов, напротив, одобрительно высказывался о взглядах М.М. Тареева, еп. Димитрий Херсонский, инспектировавший МДА в 1908 г., прямо высказывался о влиянии идей В.В. Розанова на М.М. Тареева ([Тареев М.М.] Страница из недавней истории богословской науки: [Ревизия Академий за 1908 год] // Богословский вестник. 1917. № 6-7. С. 112–113). Однако в 1910 г. В.В. Розанов разочаровался в М.М. Тарееве (*Фатеев В.А.* Тареев Михаил Михайлович // *Розановская энциклопедия* / Под ред. А.Н. Николюкина. М., 2008. С. 985-989). См. также: *С.М. Половинкин*. Московская Духовная Академия от февраля к октябрю 1917 года // Начала. 1993. № 4; Сост. (*Трубочев*) *Андроник, игумен*. Примечания // «Я пишу Вам, как на исповеди...». Переписка священника Павла Флоренского и епископа Антония (Флоренсова) // Духовный собеседник. 2007. № 2 (50). С. 126–130.

<sup>xxxv</sup> *«заявления священников и профессоров богословия, что христианство и социализм – одно»*. – Ср. у В.В. Розанова о том же: «Но Церковь? Этот-то Андрей Уфимский? Да и все. Раньше их было “32 иерея” с желанием “свободной церкви” “на канонах поставленной”. Но теперь все 33333... 2...2...2...2 иерея и под-иерея и сверх-иерея подскочили под социалиста. Под жиды и не под жиды; и стали вопиять, глаголать и сочинять, что “церковь Христова и всегда была, в сущности, социалистической” и что особенно она уж никогда не была монархической, а вот только Петр Великий “принудил нас лгать”» (*Розанов В.В.* Апокалипсис нашего времени. М., 2000. С. 6).

<sup>xxxvi</sup> *«sui generis»*. – своего рода (лат.).

<sup>xxxvii</sup> *«Окончивший университетский курс ~ судьбой своей доволен»*. – *Леонтьев К. Н.* Добрые вести // Гражданин. 1890. № 81, 83, 87, 95. Перездано: *Леонтьев К. Н.* Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. СПб., 2007. Т. 8(1). С. 424. С.Н. Дурьлин цитирует с купюрами. С.И. Фудель вспоминал: «Когда после

окончания университета он в 1889 году принял священство, это вызвало бурю со стороны родителей. Маловерие его отца тут вошло в союз с католическим изуверством матери» (*Фудель С.И.* Собр. соч. в 3-х тт. М., 2001. Т. 1. С. 22).

<sup>xxxviii</sup> **«Вы говорите ~ общественной жизни».** – Леонтьев К.Н. Письмо о. И. Фуделю. 2 мая 1890 г. // «Преемство от отцов». Константин Леонтьев и Иосиф Фудель. Переписка. Статьи. Воспоминания. С. 203. Цитируется с изменениями.

<sup>xxxix</sup> **«власть верховная делается явно атеистической и антихристианской».** – ср. описание С.Н. Дурылиным посещения А.Ф. Керенским открытия Поместного собора в день Успения Пресвятой Богородицы 15 августа 1917 г. в Успенском соборе: «А за ними вышел Керенский. Он был в костюме цвета **хакки** – во френче; около него группа штатских – [Авксентьев, Карташев и еще кто-то], и какие-то молодые офицеры, и городской голова в цепи – человек, из “бесов”: маленький, остробороденький, тонкий и юркий. Керенский держался как-то неестественно прямо, на чеку, не выдержит, казалось, в руке у него должен быть стэк, непременно стэк. Его наряд – военный и невоенный, наряд военного “штатского” – подчеркивал случайность и нелепость его присутствия тут, [в соборе], где шли люди в одежде вековых, переживших столетия, рассчитанных на какую-то известную мистическую прочность и неотменяемость. Я четко и близко видел его лицо. Оно было землисто и худо, и мне показалось оно – в глазах, в искривлении губ, в линиях ноздрей – усталым до злости и злым до усталости. Оно и было, и казалось молодым, но молодость эта еще усиливала в нем черты случайности, измученности, злости. Все это было на лице так явно и открыто, что мне стало неприятно смотреть: вот он закусил губу, вот двинул плечом и в фигуре его еще заметней стало [какое-то надрывное, истерическое] высокомерие, злобная духовная надменность, [холодом и обреченностью веяло от него]. Я перестал смотреть на него. Звон гудел и шумел в воздухе. Народ напирал со всех сторон. [Шествие еще только повернуло за угол от собора], милиционеры не могли сдержать толпу, она хлынула на шествие, и Керенский оказался в толпе. [<2 сл. нрзбр.> сзади его нельзя было отличить любого военного, каких было много в толпе]. И тут я опять посмотрел на него. В то же время смотрел на него Новоселов, [наблюдая за ходом с крыльца Церкви Риз Положения]. Наблюдения наши сошлись. Вот его слова: “Знаете, тут он сдерживаться перестал, перестал быть на виду, [тут на него не смотрели толпы], и на лице у него была такая грусть! И я вспомнил соловьевскую “Повесть об антихристе”. Помните, какое у того было грустное лицо там на соборе?” Это верно, это так: лицо грустное и ненавидящее. Вот он идет – зачем? Все это – кресты соборов, сонм архиереев, самые соборы – ему чуждо, враждебно, ненавистно. Его рука не может подняться для креста – [для того, для чего поднимаются теперь одновременно тысячи рук]. Я видел: он ни разу не перекрестился: а он стоит здесь на месте того, кто здесь крестился, кто венец принимал [у алтаря], кто читал вслух в этом же соборе этот же символ веры, каждое слово [которого] для кого-то вздор. И этот народ, сюда пришедший? Разве это та “демократия”, о которой он говорит, которой что-то обещает, чем-то грозит? Это все – чужое, он до нестерпимости “не свой” здесь и, конечно, он это чувствует: [он – умный, он “дерзкое дитя”], и злится, вероятно: “кой чорт меня принес сюда? И на кой чорт все это нужно?” Эти архиереи, иконы, соборы, [моши], колокольни. Ведь все это с тем связано, что он ненавидит, что ему ненавистно от и до». (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 293 (1). Л. 114 об.–115 об.).

<sup>xl</sup> **«еще мужами апостольскими, еще св. Игнатием Богоносцем».** – Апостольских мужей и св. Игнатия Богоносца С.Н. Дурылин читал, работая над статьей «Епископ, его служение и власть по учению Св. Отцов и учителей Церкви». См.: РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 12.

<sup>xli</sup> **«Отец Иосиф один из первых ~ за эту кандидатуру».** – Самарин Александр Дмитриевич (1868–1932) – церковный, государственный деятель, близкий к новоселовскому кружку, был назначен обер-прокурором 5 июля 1915 г., а смещен уже 25 сентября 1915 г. за противодействие Распутину. С.Н. Дурылин занимался с его детьми – Юрой и Лизой. 8 июля 1915 г. он, например, писал В.В. Разевигу из Михайловского: «Постричься мне в монахи, мэн, что ли? Самарин меня сделает архиереем. Вот, мэн, до чего я дожил: с обер-прокурорами обедал, чад и детей обер-прокурорских наставлял! О, предел педагогической гордости! Увы. Я не горд и ничего мне не надо, как покоя, покоя, покоя... О себе писать нечего: грущу, тишаю, грешу» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 375. Л. 22 об.). С.Н. Дурылин встречался с А.Д. Самариным в Абрамцеве в 1916–1917, в его дневниках остались воспоминания о нем. После революции А.Д. Самарин неоднократно арестовывался, был сослан в Якутию (1926). В 1929 г. после отбытия срока переехал в Кострому, где был регентом церковного хора. Похоронен на Александровском кладбище Костромы. В 1935 г. дочь А.Д. Самарина, Е.А. Самарина, стала женой его ученика Коли Чернышева (первая жена, Л.И. Фудель умерла от туберкулеза в 1933 г.), после смерти мужа переписывалась с С.Н. Дурылиным. См.: *Чернышева-Самарина Е.А.* // Самарины. Мансуровы. Воспоминания родных. Под ред. прот. Владимира Воробьева. Примечания прот. В. Воробьева, А.В. Комаровской, С.Н. Чернышева. М., 2001. С. 47–117.

<sup>xlii</sup> **«В дни выборов митрополита ~ равное число голосов».** – Выборы Московского митрополита проходили 20–21 июня 1917 г. на Съезде духовенства и мирян Московской епархии: за А.Д. Самарина было подано 303 голоса, за архиепископа Виленского и Литовского Тихона (Белавина) – 481 голос. Идею поставить Патриархом всеми уважаемого в Церкви благочестивого мирянина высказывал в свое

время К.Н. Леонтьев, говоря, как вспоминал митрополит Антоний (Храповицкий), что «нужно восстановить патриарха на Руси, но не из наличных духовных лиц, а из мирских церковно-общественных деятелей <...> “вот взять К.П. Победоносцева, развести с женой, постричь в монахи и в одну неделю провести чрез все иерархические степени”» (*Антоний, архиепископ*. Искренняя душа // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. Литературный сборник. СПб., 1911. С. 315). Т.И. Филиппову, сенатору, а в будущем министру Государственного контроля он тоже намекал, что тот вполне мог бы стать Московским Патриархом, намекая, вероятно на возведение начальника императорской канцелярии Фотия на престол Константинопольского Патриарха (858 г.) («Пророки Византизма»: Переписка К.Н. Леонтьева и Т.И. Филиппова / Сост., вступ. статья, подг. текста и примечания О.Л. Фетисенко. СПб., 2012. С. 243.

<sup>xliii</sup> **«Пришла нам мысль привлечь к чествованию Леонтьева и Братство четырех Святителей Московских».** – «11 ноября в 7 ½ ч. веч., в покоях владыки-митрополита при Чудовом монастыре состоялось общее собрание Братства Святителей Московских Петра, Алексия, Ионы и Филиппа. Председатель совета братства П.Б. Мансуров во вступительном слове своим говорил о значении деятельности К.Н. Леонтьева на Ближнем Востоке. Член Братства С.Н. Дурьлин сделал сообщение: “Церковь, монастырь и старчество в личности и жизни К. Леонтьева”. Протоиерей И.И. Фудель дополнил это сообщение своими личными воспоминаниями о нем. Преосвященный Димитрий, епископ Можайский, сказал о значении “Афонских писем” К. Леонтьева. Затем отслужена была заупокойная лития о нем со всенародным пением» (“Московские ведомости”, 1916, 15 ноября)» (Цит. по: *Никитина И.В., Половинкин С.М.* Примечания // Священник Павел Флоренский. Переписка священника Павла Александровича Флоренского и Михаила Александровича Новоселова. М., 1998. С. 159).

<sup>xliv</sup> **«Писатель-послушник».** – Черновик доклада в: РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 20.

<sup>xlv</sup> **«Монастырь и старчество в жизни Леонтьева».** – Фрагменты доклада «Церковь, монастырь и старчество в личности и жизни К. Леонтьева»: РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 239.

<sup>xlvi</sup> **Он отдал мне пачку неизданных писем Леонтьева в Оптину пустынь** – Эти письма после смерти прот. И. Фуделя вместе с другими материалами были переданы С.Н. Дурьлину, который уже в 1918 г. намеревался опубликовать их в своем «Московском сборнике». С.Н. Дурьлин впоследствии сделал опись накопленных материалов о К.Н. Леонтьеве.

<sup>xlvii</sup> **«Владыка Арсений».** – (в миру Арсений Иванович Жадановский; 1874–1937) – епископ Серпуховской, викарий Московской епархии (1914). Избрал монашеский путь по совету св. прав. Иоанна Кронштадского, был пострижен в мантию (1899). Наместник Московского Чудова монастыря в сане архимандрита (1904). В 1912–1916 издавал журнал «Голос Церкви», оставил воспоминания о св. прав. Иоанне Кронштадтском, о. Алексии Мечеве, сделал Чудов монастырь одним из центров духовного просвещения Москвы. В 1927 г. не принял декларацию митрополита Сергия (Страгородского) (примыкал к мечевской группировке непоминающих вместе с еп. Афанасием (Сахаровым) и еп. Серафимом (Звездинским). С 1931 г. неоднократно арестовывался, жил в ссылке, в 1937 г. последний раз арестован и расстрелян в на Бутовском полигоне. Священномученик. Оставил сборник рукописей: «семь воспоминаний об известных в годы проживания его в Москве (1904–1923 гг.) церковных деятелях, лично ему известных. Сюда вошли следующие биографии: строителя Зосимовой пустыни схимигумена Германа, великого старца той же пустыни слепца иеросхимонаха Алексия, воспоминания об о. Иоанне Кронштадском, черты из жизни четырех известных в Москве настоятелей московских церквей отцов протоиереев Алексия Мечева (о. Маросейки), Василия Постникова, Николая Смирнова (Кадашевского) и Александра Стефановского» (*Мануил (Лемешевский)*. Ч. 1. С. 371). Лит.: *Арсений (Жадановский), еп.* Воспоминания. М., 1995; *Арсений Жадановский*. Духовный дневник. М., 1999. *Арсений (Жадановский), еп.* Московский священный Кремль и его святыни: Спасская башня. М., 1996; Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти. 1917–1943: Сб. В 2 ч / Сост. М. Е. Губонин. М., 1994. С. 841; далее сокращено: Губонин).

<sup>xlviii</sup> **«Владыка Димитрий».** – (в миру Иван Иванович Добросердов; 1864–1937) – епископ Можайский, викарий московской епархии, настоятель Саввино-Сторожевского монастыря (1914), епископ Козловский (1923), архиепископ (1923). Архиепископ Донской (1925), архиепископ Пятигорский (1927), архиепископ Костромской (1929), архиепископ Сталинградский (1930). В 1932 г. уволен на покой. С 1933 г. – архиепископ Калужский. С 1934 г. – архиепископ Можайский, викарий Московской епархии. В 1937 арестован, помещен в Бутырки и расстрелян. Священномученик. Когда Т.А. Буткевич в мемуарах пишет, что весной 1910 года С.Н. Дурьлин «завел знакомство с каким-то архимандритом в Кремле», она имеет в виду, вероятно, еп. Димитрия (Добросердова) (МА ДМД. КП-611/28. Л. 47). См. о нем: Губонин. С. 971; Мануил (Лемешевский). Т. 3. С. 43-44.

<sup>xlix</sup> **«епископ Бельский Серафим».** – В миру Михаил Митрофанович Остроумов; 1880–1937 – архиепископ Смоленский и Дорогобужский (1927). Епископ Бельский, викарий Холмской епархии (1916), епископ Орловский и Севский (1917–1927). Активно сопротивлялся изъятию церковных

ценностей и обновленчеству. Неоднократно арестовывался, сослан в Караганду (1936), расстрелян в 1937 г. Новомученик и исповедник. См. о нем: Губонин. С. 892; Мануил (Лемешевский). Т. 6. С. 66-67.

<sup>i</sup> **«Письма с Афона».** – Леонтьев К.Н. Четыре письма с Афона (неизвестной). 1872 г. // Богословский вестник. 1912. № 11, 12. Вслед за тем были опубликованы отдельно: *Леонтьев К.Н. Отшельничество, монастырь и мир. Их сущность и взаимная связь. (Четыре письма с Афона).* Сергиев Посад, Издание «Религиозно-философской библиотеки», 1913. Переизданы: *Леонтьев К.Н. Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. СПб., 2005. Т. 7 (1).* Адресатом писем был племянница Леонтьева – Мария Владимировна Леонтьева.

<sup>ii</sup> **«В “Соловьевском” заседании, бывшем на другой день, все вышло иначе».** – Заседание состоялось 13 ноября 1916 года, было приурочено к 25-летию со дня кончины К.Н. Леонтьева. «Вступительное слово председателя общества Г.А. Рачинского. Речи: прот. И. Фуделя “К. Леонтьев и В. Соловьев”, С. Дурьлина “Писатель-слушник”, С. Булгакова “Победитель-побежденный. Судьба Леонтьева” (Соболев А.В. К истории Религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева // *Он же. О русской философии.* СПб., 2008. С. 320).

<sup>iii</sup> **«его статью о юбилее Фета».** – К.Н. Леонтьев. Кстати и некстати, письмо А. А. Фету по поводу его юбилея // *Гражданин.* 1889. 80, 81, 83. Переиздано: *Леонтьев К.Н. Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. СПб., 2007. Т. 8 (1).*

<sup>iiii</sup> **«Мой доклад явно провалился».** – См.: *Фудель С.И.* Собр. соч. Т. 1. С. 65.

<sup>iv</sup> **«Н.Н. Прейс».** – Прейс Николай Николаевич – член новоселовского кружка, знакомый и корреспондент С.Н. Дурьлина. С.И. Фудель вспоминал, что Прейс «нес подвиг молитвы за многих писателей. Андрей Белый где-то пишет, что в его чемодане, когда он путешествовал по Европе, всегда были три книги: “Критика чистого разума”, томик Ницше и Евангелие <...> Это был весьма интересный человек, и я не представляю себе весенней Москвы 1917–1918 годов без его небольшой сутуловатой фигуры в черном пальто или длинном черном сюртуке, золотых очках и какой-то маленькой старой фетровой шапочке. Легкое бремя Христово он носил с собой всегда и везде в черной клеенке, опоясанной двумя ремнями с деревянной ручкой, – совершенно так же, как мы, гимназисты, носили тогда свои учебники. В этой сумке был Новый Завет, несколько книг святых отцов и поэтов <...> я часто видел его в Сергеем Николаевичем» (*Фудель С.И.* Собр. соч. Т. 1. С. 53).

<sup>lv</sup> **«А.А. Александрова».** – Александров Анатолий Александрович (1861–1930) – журналист и общественный деятель, редактор журнала «Русское обозрение», окончил Ломоносовскую семинарию при Катковском лицее, посещая астафьевские «пятницы», познакомился с К.Н. Леонтьевым и вошел в кружок его учеников. Приват-доцент Московского университета (1891–1898), редактор «Русского обозрения» (1892–1898), «Русского слова» (1895–1898). С 1910 г. жил в Сергиевом Посаде, несколько раз упоминается С.Н. Дурьлиным в дневнике 1919 г. «Троицкие записки» как хорошо ему знакомый человек. См.: Письма К.Н. Леонтьева к А. Александрову // *Богословский вестник.* 1914, № 3, 4, 6, 12; *А.А. Александров.* Памяти К.Н. Леонтьева // *Богословский вестник.* 1915. № 1, 2. Отдельной книгой: I. Памяти К. Н. Леонтьева. II. Письма К. Н. Леонтьева к А. Александрову. Сергиев Посад, 1915; К биографии К.Н. Леонтьева. I. Г.И. Замараев. Памяти К.Н. Леонтьева. II. Письма К.Н. Леонтьева к Г.И. Замараеву / сост. А.А. Александров // *Русская мысль.* 1916. Март. См.: *Фетисенко О.Л.* «Гептастилисты» Константин Леонтьев, его собеседники и ученики. СПб., 2012. С. 533-578; *Белодубровский Е.Б.* Александров Анатолий Александрович // *Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь.* Т. 1. А-Г. М.: «Советская энциклопедия», 1989. С. 43-44.

<sup>lvi</sup> **«После меня читал С.Н. Булгаков»** – *Булгаков С.Н.* Победитель-побежденный // К.Н. Леонтьев: pro et contra. Антология. Книга 1. СПб., 1995. С. 386. Впервые: *Биржевые ведомости.* 1916. 9, 16, 22 декабря.

<sup>lvii</sup> **«Я тяжело заболел и лежал в больнице».** – В марте 1918 г. С.Н. Дурьлин перенес операцию по удалению паховой грыжи. В больнице он записал: «Больница. 27 марта. Я лежу здесь 12-ый день. Это для меня было как поездка в Оптину. В четв<ерг> 15-го я испытал близость смерти, лежа на кровати в муке. Я смотрел на образы преп. Сергия и свят. Николая и молился им, я шептал Иисусову молитву, о. Анатолий смотрел на меня с карточки. Я все просил фельдшера сказать, лучше ли мне. Я хотел приобщиться Св. Тайн. В это время вошел о. Виталий и предложил это сделать. Я прошептал несколько раз самое страшное – и приобщился, повторив предпричастные молитвы. Я просил прощения у Сережи, Коли заочно. Лежа на столе, я шептал Иисусову молитву, когда сознание мое потухло, оставалось одно впереди меня – Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя – Помилуй мя были огромные буквы яркие перед глазами, и тут я уснул. Еслиб я умер тогда, то с этой последней молитвой. Меня не тошнило от хлороформа. Мысль была: “Все, все мне было дано: храм, старец, молитва – а я!” Но Он – не хотел смерти грешника, воистину не хотел» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 293. Л. 142–142 об.).

<sup>lviii</sup> **«“Апокалипсис и Россия” ~ в закрытом заседании».** – Доклад С.Н. Дурьлина «Апокалипсис и Россия» состоялся 29 апреля 1918 г.

<sup>lix</sup> **возражал и Булгаков** – С.Н. Булгаков действительно говорил в докладе, что «для Леонтьева не возникает вопроса о смысле истории вне его излюбленной схемы развития и нет места



апокалипсическим чаяниям, для которых он находит только иронию» (С.Н. Булгаков. Победитель-побежденный // К.Н. Леонтьев: pro et contra. Антология. Книга 1. СПб., 1995. С. 387).

<sup>lx</sup> **«Московского Сборника».** – Издание не состоялось. Предположительно, сначала, в июле С.Н. Дурылин намеревался издавать сборник сам, в августе возник уже проект совместного издания сборника с о. Павлом Флоренским. О. Павел добавил туда свои материалы по архим. Феодору (Бухареву) и еп. Антонию (Флоренсову). набросок сборника: ОР РГБ. Ф. 872 К. 1. ед. хр. 31. Л. 49-50.

<sup>lxi</sup> **«Леонтьев не любил ничего «Гоголевского».** – Тема критики реализма Гоголя (особенно «Записок сумасшедшего», «Шинели», «Ревизора», «Мертвых душ») и проистекавшей из него натуральной школы постоянно развивалась Леонтьевым. См.: «Моя литературная судьба», «Тургенев в Москве. 1851–1861 гг.» (Леонтьев К.Н. Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. СПб., 2003. Т. 6 (1)), «Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой» (Т. 8 (1)), «Анализ, стиль и веяние. О романах гр. Л. Толстого» (Леонтьев К.Н. Собр. Соч. М., 1912. Т. VIII). Леонтьев противопоставлял Гоголя и вышедших из него Достоевского и Салтыкова-Щедрина Пушкину и Лермонтову, влияние которых он видел в Тургеневе и Толстом. Дурылин в своей эстетике во многом наследовал Леонтьеву, с тем серьезным отличием, что он высоко ценил романы-трагедии Достоевского. Дурылин собирал материалы на тему «Леонтьев и Гоголь», однако, работы с таким названием не сохранилось.

<sup>lxii</sup> **«воспоминания Леонтьева “Моя литературная судьба”.** – Работа К.Н. Леонтьева «Моя литературная судьба» впервые была опубликована С.Н. Дурылиным в «Литературном наследстве» (1935, № 22-24). Переиздано: Леонтьев К.Н. Моя литературная судьба 1874–1875 года // Леонтьев К.Н. Полн. собр. соч. и писем.: В 12 т.. СПб., 2003. Т. 6 (1).

<sup>lxiii</sup> **«Сколько народу умерло без Вас. Вот о. Иосиф Фудель».** – О. Иосиф Фудель умер 2/15 октября 1918 года.

<sup>lxiv</sup> **«о. Егору Чекрякскому, о. Валентину Амфитеатрову»** – Косов Георгий (1855–1928) – настоятель Спасо-Преображенского храма в селе Спас-Чекряк Болховского уезда Орловской губернии. Прославился подвижничеством и прозорливостью, построил каменный храм, приют для сирот, богадельню, гостиницу, несколько школ, ремесленные мастерские. С 1918 г. неоднократно арестовывался, однако в итоге был освобожден. Амфитеатров Валентин Николаевич (1836–1908) – известный московский пастырь, ввел практику частого причащения. Служил в Москве в храме Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость», а затем в придворном Архангельском Соборе в Кремле. См.: Е. Бочарова. Московский утешитель: Протоиерей Валентин Амфитеатров. М., 1995; Подвижник веры и благочестия: Протоиерей Валентин Амфитеатров. Репринт: М.: Изд-во ПСТБИ; Изд-во Сестричества во имя прмч. вел. кн. Елизаветы, 1995.

<sup>lxv</sup> **«пыль земли».** – слова стихотворения А.С. Хомякова «Надпись на картине (ангел спасает две души от сатаны)» (1848):

Я видел, как посланник рая  
Две души в небо уносил,  
И та прекрасна, и другая,  
Но образ их различен был:  
Одна небес не забывала,  
Но и земное все познала,  
И пыль земли на ней легла,  
Другая чуть земли коснулась  
И от земли уж отвернулась,  
И для бессмертья сберегла  
Всю прелесть юного чела.

<sup>lxvi</sup> Черновой автограф. РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 214. Л. 29-31. Машинопись проповеди не подписана автором. Сверена с черновым автографом. Фрагмент черновика проповеди сохранился в: РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 239.

<sup>lxvii</sup> Ранний вариант: *возсияла*

<sup>lxviii</sup> **«Без мене не можете творити ничесоже».** – Ин. 15:5.

<sup>lxix</sup> **«Преходит образ міра сего».** – преходит бо образ міра сего (1 Кор. 7:31).

<sup>lxx</sup> **«Если в России ~ старец оптинский Амвросий».** – это толкование апокалиптического сна А.П. Толстого преп. Амвросием Оптинским приводит С.А. Нилус (*Нилус С.* Близ есть, при дверех. О том, чему не желают верить и что так близко. Сергиев Посад. 1917. С. 52).

<sup>lxxi</sup> **«Немного человечеству остается, ~ евангелие будет проповедано всем».** – Леонтьев К.Н. Письмо В.В. Розанову. 13 июня 1891 // Розанов В.В. Литературные изгнанники. С. 365.

<sup>lxxii</sup> **«Человек истинно верующий ~ и Церковь тоже вечна».** – Леонтьев К.Н. Письмо В.В. Розанову. 13 августа 1891 г. // Там же. С. 375.